

FT
MEADE

Cyr
4
PG 2440
Copy 1

Foratlor, A.

302 - 2440

CYR4-PG 2440

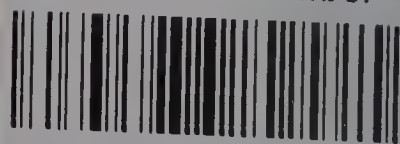


А ПОКАТИЛОВ.



БЕЗ
РОДИНЫ.

LC Control Number



lrf 89 004720

Убогой во всех отношениях русской
колонии в Америке посвящаю эту
пьесу.

А. ПОКАТИЛОВ.

Без Родины

Пьеса в 4-х действ., из жизни русских в Америке



Лето, 1921 года, Чикаго Америка.

(Перевод, перепечатка и постановка на сцене без разрешения автора воспрещается).

FEB 11 1921

© Cl A 776626

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Николай Андреевич Керновский

Любовь Петровна, его жена

Валя }
Лида } их малолетние дети

Григорий Иванович Шумков, друг Кернов-
ских из России

Леонид Сторм (из России — Старомодов).

Паша, серьезная дева колонии

Стефа Королева (Степа) эксцентричная де-
ва колонии

Мэри, скромная дева колонии

Карузо

Ваня Крюков, профессиональный безработ-
ный

Сикамбр-Одинокий старый моряк

Джим, дворник.

ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ В НЬЮ-ИОРКЕ.

Первый и второй акты до войны; третий — в пе-
риод отправки партии политических эмигрантов в Рос-
сию за счет Временного правительства; четвертый —
вскоре после „Большевистской Революции“.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.

Гостинная в доме Керновских.

Налево, ближе к авансцене, дверь в коридор; около дверей небольшая стенка с вешалкой (вроде коридорчика); направо две двери. Ближе к авансцене — в остальные комнаты. В глубине — в комнату Сторма. В задней стене три окна: среднее, немного в углублении, большое и по бокам — меньшего размера. Вся задняя стена представляет собою три стенки восьмиугольника.

Налево диван, кресло-качалка, круглый стол. Около стола небольшой коврик. Направо пианино, этажерка с книгами. На левой стене „ментал-пис“ с зеркалом.

Пара картин русских художников или портретов русских писателей. Стулья, пьедестал с бюстом русского композитора.

Вся комната в русском стиле, но с американским инвентарем.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

При поднятии занавеса Сторм без пиджака и жилетки, развалившись в качалке и забросив ноги на спинку качалки, просматривает карикатуры в красках воскресного номера американской газеты. По временам он в засосом смеется во весь рот. Паша сидит на подоконнике среднего окна, боком к Сторму. Читает брошюрку, держа ее в одной руке. В другой руке, спущенной вниз, держит большую соломенную шляпу. Она несколько раз оборачивается на Сторма; делает гримасы; пожимает плечами; поворачивается, усаживаясь к нему задом; наконец фыркает, без стеснения выражая возмущение.

На улице раздается характерный свист проезжающего продавца фисташек. Сторм бросает читать карикатуры, прислушивается к свисту, поднимается и подходит к боковому окну.

(ЗВОНОК).

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Входит Любовь Петровна из других комнат и направляется в переднюю. Она в переднике, с слегка засученными рукавами. Открывая дверь, кричит яко-бы вниз по лестнице: „Галло... Галло...“ Оправляет рукава и поправляет прическу, заглядывая в зеркало „ментал-писа“.

Шум, крик, звонок в дверях.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ.

Появляются дети. Они опрятно одеты.

Дети. (Из дверей протягивая ручонки). Пап-корн-мэн... пап-корн-мэн... пап-корн-мэн.

Люба: (вынимая из кармана фаргук мелочь, сует оправляя их на ходу; говорит в двери). Смотрите-же не переходите улицу. Играйтесь около дома... (Закрывая дверь начинает машинально, кончиком передника то там то здесь стирать пылинки).

Паша: Зачем Вы, Любовь Петровна, приучаете детей к деньгам?

Люба: В первое время я таки боролась с этой гадкой американской манерой — давать детям „пени“. Да разве возможно? Как могут дети устоять перед таким соблазном, как например, эти раз'езжающие по улицам в своих кибитках торгаши фисташек, жвачки и печеной кукурузы? А этот еще пронзительный свист... Ух! Как он на мои нервы действует... Очевидно, и на детишек он тоже сильно действует... только в обратном смысле. Этим свистом торгаши проявляют большое знание детской психологии, метко улавливают их души, и заразительно действуют на нервы, подчиняя их вполне своей воле.

Паша: Да-а... я, вот, когда детишки вбежали сюда, заметила, что они прямо в каком-то экстазе находились. Глазенки горели...

Люба: Ну-да как же? Боятся пап-корн-мэн уедет. А разве можно допустить? Все детишки покупают, а они не удостоятся чести „купить самостоятельно“, и не будут наслаждаться жеванием какой-то гадости. Но главное, что от этого свиста нельзя никуда спрятаться. Иногда дети сидят дома в то время, когда проезжает по улице пап-корн-мэн. Ну, кажется, и хорошо, и проехал-бы. Но нет!... Этот пронзительный свист достигает детского уха, где-бы дети ни были и чем бы они ни занимались.

Сторм: (свист замирает вдали; он отрывается от окна). А по моему, это—восхитительная штука... Великолепнейшая вещь... применять отработанный пар в средство бесплатной рекламы... Вот это-то, по моему, и есть остроумное приспособление великих изобретений к мелочам повседневной жизни.

Паша: (перебивая). Станный человек! Только что было указано на это, как на одно из

отвратительнейших явлений больших американских городов, с которыми материнское чувство бессильно бороться. А он твердит свое: „Остроумие! Остроумное изобретение!“... (Вставая и одевая шляпу). Ну-с, я ухожу.

Люба: Уже уходите? Так скоро?

Паша: Я только на полчаса. . . Пойду пройдусь. . . Я очень хочу познакомиться с вашим приезжим гостем: люблю поболтать с „зелеными“. От них так Россией и пышет. Каков-бы „зеленый“ ни был, в нем все-же есть некоторый интерес. А у наших, у американизировавшихся, как будто нутра нет. Так, какие то пирожки без начинки.

Сторм: Товарищ Паша! Не стойте около кухни. Лучше пойдите прогуляйтесь, а то у Вас уже кухонные сравнения начались.

Паша: (Любе, лукаво кивая на Сторма). Знает „мериканец“, в чей огород камни бросаю! Ну, я пошла. . . (Уходит).

Люба: (Подходя к окну). Молодец! Она, кажется, самое отрадное явление в нашей болотистой русской колонии: решительная и последовательная.

Сторм: Напускное. . .

Люба: Сам-то Вы напускной.

Сторм: Когда же это Вы открыли во мне такое достоинство?

Люба: Все тогда-же. . .

Сторм: А-га. . . Когда Вы хотели подурочиться со мной. . . скуки ради. Я знаю: дамочки это любят. . .

Люба: Вы бы еще добавили: „с жиру“... .

Сторм: Нет, не с жиру, а просто из любви к пестрым переживаниям. . . С жиру — это купчихи. . . Вы же женщина впечатлительная, интеллигентная. . .

Люба: А Вы — злой. У Вас много. . . даже не злости, а бессердечия, сухости. . . Вы и Америку любите как-то по-холодному. Она тоже — сухая, черствая и очень импонирует Вашему духовному равновесию.

Сторм: (черство). Я не только Америку

люблю, а что-то, или, и вернее, кого-то другого... или, даже еще вернее, — другую.

Люба: Оставьте этот тон, Леонид, и выслушайте меня серьезно... Того, что со мною произошло в нашей встрече с Вами, — я не жалею... (Пауза). Приехали мы в Америку не по доброй воле, а в силу сложившихся обстоятельств. Сначала было очень тяжело. Николаю при всей его энергии без практического знания языка было тяжело устроиться. Пришлось отказывать себе во всем. А главное — Коля должен был с утра до ночи работать. Работать и абсолютно не уделять никакого внимания ни детям, ни мне. А тут еще эта тоска по родине, по России... И вот я встретила Вас, человека, показавшегося мне оригинальным, смотрящим на все здоровым взглядом американца... Ну и... я не буду об этом говорить... Я уже забыла все это, вычеркнула... Мне одного не хочется; чтобы у вас не остался неприятный осадок на душе. Не потому, что мне жаль вас; что я хочу Вас пожалеть... Нет... Мне все равно: будете ли Вы от этого страдать больше или меньше... Я не хочу, чтобы у Вас было неправильное представление обо всем этом. Я терпеть не могу лжи, фальши, недомолвок... Ну, да, да... Правда, а не ложь. Вот и все...

Сторм: Да, теперь-то Вы, конечно, можете рассуждать хладнокровно... Совсем другой Вы мне показались в тот вечер.

Люба: Я и тогда к только что происшедшему между мною и Вами отнеслась совершенно спокойно. У меня ни капельки не было даже угрызения совести. В ту же ночь, когда все спали, я села и написала письмо сестре в Россию, в котором, описав все подробно, что между нами произошло, закончила буквально следующими словами: „Я не отдалась ему физически, но отдалась... как это понимаем я и Коля“...

Сторм: О-го, вот куда Вы выехали!...

Люба: Я должна была это высказать, объяснить с Вами... вообще покончить раз навсегда... а покончить нужно тем более теперь — прежде, чем войдет сюда наш друг, приехавший из России.

Сторм: (свистит). Теперь я понимаю. Математически вычислено правильно. Всему, значит, крест поставить за несколько мин.... А этот друг тоже — „он“?
(Звонок).

Люба: (Вспыхнула, вскинула на него взор и обменявшись долгим взглядом, подошла к дверям). После того, как между нами все выяснено... — не моя вина, если что-либо Вами не понято. Я Вам заявляю: оскорблений не потерплю! (Кричит в двери: „Галло“).

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Керновский (за дверьми еще): Ну, проходите, проходите! Дети дайте дяде дорогу... (Входят Валя, Лида, Шумков и Керновский).

(У Шумкова через плечо сумка, в руках летнее пальто и плед в ремнях. У Керновского — чемодан и саквояж. Шумков в косоворотке и тужурке).

Шумков: (освобождаясь от вещей и протягивая руку) . Здравствуйте.

Люба: (подавая руку). Добро пожаловать. (Керновский уносит вещи в другие комнаты; туда же уходят дети).

Люба: Познакомьтесь: Мистер Сторм... товарищ Шумков...

Шумков: (оглядываясь на Любу, подает руку нерешительно). По-русски... говорите?

Сторм: (немного смутившись). О, да...

Шумков: Простите... Фамилия мне показалась английская.

Сторм: Моя фамилия из России, собственно, Старомодов. Но для американца это трудно выговорить. Да к тому-же здесь принято... почти все сокращают фамилии.

Люба: (Шумкову). Почти, но... не все. Присаживайтесь, Гриша. Можно Вас постарому называть?

Шумков: (сидясь). Пожалуйста.

Люба: Ну-с, как Вам жилось последнее время в России? Долго сидели в тюрьме?

Шумков: Не особенно.

Люба: А выпустили как? Без суда?

Шумков: Вы помните конечно в нашем городе прокурора Миловидова? Так вот его сын, — мы с ним очень дружили еще в гимназии,

— похлопотал за меня перед отцом. Ну, тот и из'ял дело только с условием, чтобы Виктор, — это сынок-то, — взял бы с меня слово убраться при первой возможности на год — два за пределы отечества.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

Керновский: (Входя). А как поживают наши общие знакомые? Между прочим, Вам не приходилось видеть мою старушку-мать?

Люба: А моих.. моих? Сестру Людмилу уж наверное встречали?...

Шумков: Как-же. Она меня провожала даже на вокзал. Только она одна... Что-то говорила... передавала, но я был страшно растерян... Ведь, кажется, что может быть проще: собрать вещи, уложить их, купить билет и уехать за-границу. Тем более мне... Без всяких проводов, без прощаний, напутствований и прочего там... Ан, нет, понемногу начинает сердце как будто щемить; потом комочек под горло подступает... (грустно, со вздохом). Родина!.. Это слово никогда не находило отзвука в моей душе — было мне чуждо, а вот как самому то на деле пришлось покинуть Россию, так и взгрустнулось. И понимать начал без словаря энциклопедического эту самую „тоску по родине“.

Керновский: О, да Вы совсем сентиментальный мечтатель.

Шумков: Не мечтатель, а настоящий российский обыватель. Да еще такой, которого американцы, читал где-то, считают мистиком.

Керновский: Ха-ха-ха. Нет, уж если дело дошло до американцев с их понятиями о русских, — то, позвольте Вам заметить, читали Вы фантазию какогонибудь юмориста... Американцы знают о русских столько-же, сколько мы с Вами о загробной жизни.

Шумков: Неужели? А мне говорили, что в Америке довольно много русских, имеются организации, пресса, целые колонии. Как же они могут не замечать?

Люба: А это вы, как поживете и увидите собственными глазами. Если Вы серьезно преднамереваетесь вкушать все эти прелести русской

общественности в Америке, то Вам придется горькую пилюлю проглотить.

Керновский: А то, пожалуй, и рвотный порошок. (Общий смех).

Шумков: Виноват, Вы спросили о вашей матушке? Не видел перед отъездом. В тюрьму ко мне раза два приходила. Коржиков приносила, о Вас вспоминала. Говорит, балуете Вы ее—много денег высылаете. Внучат хотела-бы нянчить, да океана страшится и умереть хочется в родном краю.

Люба: Ну, а начальница гимназии, не слышали? Все та-же. Мадам Спасская? „Ведьма“, как мы ее называли.

Шумков: Нет, ее перевели куда-то. На ее месте теперь. . . забыл право фамилию, довольно симпатичная. А вот одна классная дама, блондиночка, с грустными глазами, эстонка, кажется. Один из Афанасьевых, тот, что на филологическом, еще был влюблен в нее.

Люба: Эстонка. . . блондинка. При мне такой не было.

Шумков: Так вот, эта классная дама бросилась под поезд. Скандал был большой. После этого Ваша „ведьма“ — начальница или перевелась куда-то, или ее перевели.

Люба: (задумчиво). Броситься под поезд! Б-р-р. . . Это — ужасно! . . . Излюбленное лекарство от российской неудовлетворенности: или под поезд, или уксусной эссенцией. . . А уж, наверное, если бы она жила в Америке, то газом отравилась бы.

Шумков: Газом? Что для освещения? Это как-же?

Люба: И для освещения и для приготовления пицци и всякой кухонной стряпни. Захочет человек покончить с собой, закроет окна, щели в комнате, откроет газовые рожки и ложится на вечное усыпление. . . А то к тому-же в ванну с горячей водой садятся, да так и умирают. . .

Керновский: Кстати, и Вам нужно осторожнее с этим. . . Вы, помнится, очень рассеянный. А здесь много случаев с „зелеными“, т. е. свежими иммигрантами: оставят его на ночлег одного в комнате: „Спокойной, мол, ночи“. Ну, он

себе разоблачится, по привычке, задует газ, да и на боковую. Глядишь, на утро мертвым находят.

Шумков: Это уж... не „Спокойной ночи“, а по-хуже...

Керновский: (к жене). Вот что, Люба. Нужно кое-какие вещи товарища Григория вывезти, чтобы проветрить с дороги... Я тебе помогу, да и закусить время. Итак, товарищ (к Шумкову) простите нас. Мы недолго...

Шумков: Пожалуйста, пожалуйста. Только насчет меня Вы особенно не беспокойтесь. Может быть я бы сам мог сделать, что нужно?

Керновский: (идя). Нет-нет... Вы уже отдыхайте...

(Уходят).

Сторм: (предлагая). Курите сигары?

Шумков: Нет, благодарю Вас. Вот Вы не хотите-ли русских папирос?

Сторм: Пожалуй, дайте. Испорчу одну. Наверное ствык уже. К американским привыкнуть не мог: сигары курю (закуривают).

(ЗВОНОК).

Голос Любы: (из комнаты). Леонид! Пожалуйста отойдите дверь и спросите, кто там...

Сторм: (отпирает дверь и кричит вниз („Алло“) оставляя дверь полуоткрытой, возвращается и говорит Шумкову). Это—знакомые...

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ.

Входят Паша, Стефа и Сикамбр.

Паша: (к Шумкову). А Вы это и будете приезжий гость Керновских? Только что с парохода... Ну-с, хозяев нет. Давайте сами знакомиться. Я — Паша (подает руку). Это — Степа. А это — наш моряк, он же — Сикамбр — Одинокый (все здороваются. Рассаживаются, где кто попало). Специально пришли поболтать с Вами, пока Вы еще свежий, т. е. не прокисли в американской затхлой гуще.

Сикамбр: Да, поболтать следует. Да еще пока человек не остыл...

Стефа: Что это Вы принялись за товарища? Что он — стакан чаю? «Не остыл»?

Сикамбр: Я думаю... того... в другом смысле: горячие идеи еще не остыли...

Паша: Ну-с, товарищ, рассказывайте о России. Что она? Как она? и прочее...

Сорм: Еще не провалилась в тартарары?

Сикамбр: Сорм.. Ты еще вторых бумаг не имеешь. Чего Россию лягаешь?...

Сорм: Это — что: морская острота, что-ли?

Сикамбр: А что?

Сорм: Много воды.

Сикамбр: А морская вода должно горькая: не по вкусу тебе прилась...

Паша: Будет Вам!. Опять погрызетесь... (к Шумкову). Ну, так как-же Россия?...

Шумков: Что Вам, товарищ, сказать на этот большой вопрос?... Реакция общественной жизни; порнография — моральной, начавшейся пресловутой „Лнгой свободной любви“; да экспроприации чисто бандитского характера, — составляют невеселую сторону российской действительности. Есть и положительные стороны. Партии, стоящие на классовой точке самосознания, кристаллизуются. Много пришлого элемента выброшенного еще волной революции 1905 года, сами собой откатились к своим местам обывательщины всероссийской, верноподданнической.. Оставшиеся-же стойкие работники партии плотнее смыкают свои ряды и подсчитывают прежние ошибки...

Сикамбр: Бухгалтерией, значит, занимаются?

Стефа: Почему-же бухгалтерией? Я думаю, это — необходимая работа... Если революционное движение всей страны—вообще, опиравшееся на партийную незрелость — в частности, — потерпели такое фиаско, такой позорный провал в 905 году, — то естественно, требуется строгий фильтр в революционных партиях. И одним из главных регуляторов такого фильтра и будет подсчет прежних ошибок...

Сикамбр: Не уминяйте, Степа... Теоретиком партийным не будете и в кругосветное плавание не попадете — не возьму...

Степа: (кокетничая). Я и без Вас теперь знаю все ходы и выходы бруклинских морских „борден-гауз'ов“...

Сикамбр: Вот, товарищ, мужественная жен-

щина или женственный мужчина! Пристает ко мне взять ее в кругосветное плавание юнгой. Для чего решается одеть мужской костюм и остричь волосы под-машинку...

Шумков: Я думаю, это довольно рискованная экскурсия. Задача не из легких...

Сторм: Оригинальничает наша Степа...

Сикамбр: Вот если бы к ее оригинальничанию да твою „Стормовскую“ приспособленность к Америке, — так она бы большие „долярки“ зашибала... А ты у нас и со вторыми бумагами далеко не пойдешь...

Сторм: Хотя далеко не пойду, зато буду иметь право голоса при следующих президентских выборах. А вы все: ни богу свеча, ни чорту — ко черга....

Сикамбр: А толку какого будет из твоего голосования? Если ты будешь американизиться...

Паша: Сикамбр... Сколько раз я Вас поправляла: „американизироваться“....

Сикамбр: (кланяясь в сторону Паши с закрытыми глазами). Американиз... ваться. (Паша движением помогала ему выговорить и окончила вместе с ним жестом руки; все улыбнулись). Так вот, если ты будешь так успевать... это самое....., так, пока получишь вторые бумаги, за республиканца голосовать будешь. А то, в случае, краха карьеры в мирской жизни, в „салвэйшон армию“ угодишь. Работать ты не особенно долюбливаешь. Перестрахуешь „от жизни“ всех людей, что тогда будешь делать? Кочегарить со мною на море не поедешь и на суше „гаузы“ ломать не пойдешь.

Сторм: Всех не застрахую: на мой век дураков хватит...

Паша: (к Шумкову). Вот слышите, товарищ, разговоры? Это у нас принято называть „свободный обмен мыслей“... У нас, ведь, в колонии что ни человек, то и индивидуум, со своим собственным мировым кругозором. Устроят организацию, общество, кружок, — так сколько членов, — столько и различных течений и направлений. И организуются то не столько для классовой группировки, в целях пропаганды классового самосознания, — сколько для разго-

воров, для упражнения в полемической стрельбе...

Шумков: Странно... Это просто сюрприз для меня. По моему в Америке, где русский лишен царской опеки; где он пользуется, так сказать, политической свободой, — он мог бы принести родине огромнейшую пользу в деле созидания будущей российской революции. Русские выходцы могли бы здесь, на месте, готовить кадры сознательных, развитых революционеров, которые бы при первом шквале грядущей великой российской революции, составили бы авангард пролетарского войска (воодушевляясь). Помилуйте... Ведь все то, что мы делаем в России подпольно, нелегально, со связанными, можно сказать, руками, как например: организовываться в партии, разбираться в партийных вопросах, вести агитацию, пропаганду и т. д. . . . здесь же, я говорю, можно делать все это смело, открыто и в тысячу раз продуктивнее... Здесь вы не опасаетесь, что предательством одного негодяя — провокатора, рухнет во мгновение ока ваше тяжело налаженное дело... Десятки товарищей не будут брошены по тюрьмам, в Сибирь, на каторгу, на виселицу... Я пока не знаком со специфическими местными условиями жизни русской колонии в Америке, но, поскольку могу себе представить, ее общая ситуация такова: Сюда приезжают, с одной стороны, испытанные, сознательные борцы русской свободы, бежавшие политические преступники, а с другой — темные иммигранты, гонимые чисто экономическими причинами. Причем эти-то темные элементы, как принято у нас выражаться партийным языком, — масса, — прибывают сюда из различных деревень, местечек и городов необъятной России. Представляете-ли вы, товарищи, какая получается грандиозная картина?.. Какое роскошное вырисовывается поле деятельности для истого революционера? Вы только глубже вдумайтесь!.. Это выходит, что Америка является как бы революционным университетом для всей России. Даже больше — рассадником великих идей социализма. И из этого рассадника эти идеи, как по мановению волшебного жезла, при-

виваются к тысячам русских деревень, местечек, городов при посредстве „вольнослушателей“ огромной революционной кафедры Америки....

Стефа: (аплодируя). Великолепно. Браво, товарищ....

Сторм: (аплодируя). А Степа в Вас должна влюбиться....

Сикамбр: (задумавшись. Тяжело ворочая языком). Вашими-бы устами да мед пить.... Разве я давеча не верно сказал: „горячий“. (Махнув рукой). Скоро Вы остынете....

Паша: (раздельно). Картина-то нарисована теоретически и правдоподобно, но... Вот это-то „но“ и мешает.... Вы нарисовали как желательно, чтобы было, но... практически — много попадается „непредвиденного“....

Сикамбр: Вот „непредвиденно“, как пошлют этих самых сознательных социалистических профессоров чугунные балки таскать, туннели копать, старые дома ломать, канализации чистить... Это — с одной стороны. А с другой — этих самых вольнослушателей из „салунов“ да картежных домов не только агитационным словом, а и полицейским клобом не вышибешь....

Паша: Положим, не так страшен чорт, как его малюют.... Конечно, на деле не получается так грандиозно и красиво, как только-что нарисовал приезжий товарищ, но тем не менее работа идет. Нужно не забывать, что русская иммиграция в Америке еще совсем молодая; общественная жизнь колонии пока-что находится в зачаточном состоянии... Откуда-же Вы хотите в настоящее время видеть воочию партийную работу, а тем более ее результаты?... Для работников скромных, уравновешенных поле деятельности здесь действительно есть. Но вот... Вы меня простите, товарищ (меняя тон).... Как Вас звать собственно?

Шумков: Шумков... Если хотите — Григорий....

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ.

Входят Керновский и Люба.

Люба: А Вам, Гриша, приходится самому отрекомендовываться. В Америке это принято.

Керновский: А также принято снимать пид-

жак (подходит к Шумкову), когда жарко. Снимайте - снимайте... А вешать можно на спинку перво-попавшегося стула. А то в пиджаке Паша наша живо до седьмого поту вгонит, коль скоро Вы взялись с нею „дебатировать“, нежно выражаясь.

Паша: Мы не „дебатировали“. Только вот товарищ Григорий немного красочно нарисовал возможность агитировать российскую массу в Америке.

Люба: Гриша, значит, по обыкновению фантазирует, но красиво, умно и... непрактично.

Паша: И добавлю, что на мой взгляд, Вы нашей будничной колониально-партийной работой не удовлетворитесь.

Люба: А об этом мы судить будем, когда накормим товарища и сами закусим. Стефа, помогите мне... Мне нужна женская помощь. Стряпухой хорошей я никогда не буду.

Стефа: (поднимаясь деланно - трагически). Женская помощь... О, злая ирония судьбы!... Как мужественно я не веду себя, а везде и всегда во мне видят, больше чем в ком либо, женщину. И одержимы этим недугом, как мужчины (жест на Сикамбра, а затем — жест на Пашу и Любу), так и женщины... Близорукне....

Сторм: А я полагаю: прозорливые....

Стефа: А вы „нужды повседневной жизни“ — „шарапните“....

Люба: Степа... Что за выражение?

Стефа: Я сдаю экзамен на аттестат мужчины.

Люба: Получите, милая... Только не раньше, как поможете мне накрыть на стол (обе уходят).

Сикамбр: А я думаю, не получит оно даже и после пострижения в сан моряка...

Шумков: (к Сикамбру). Скажите. Неужели эта девушка серьезно решила преобразиться в мужчину и поступить на пароход?...

Сикамбр: Да еще матросом дальнего плавания.....

Керновский: (к Сикамбру). Я, товарищ Сикамбр, давно хотел с Вами поговорить отно-

сительно Вашей с нею затей. Может выйти очень скандальная история и с печальным финалом для девушки. Ведь американские власти с их раздутой моралью очень строго отнесутся к ее маскараду...

Сикамбр: При чем же я-то тут?

Керновский: Как? Разве не вы надули ей в уши этот абсурд? Разве это — не Ваша инициатива?

Сикамбр: Обвинять меня в этом столь же основательно, сколь основательно обвинять и в том, что по моей причине Рузвельт ездил в Африку убивать невинных зверей и животных.

Керновский: Не Вы-ли ее вначале подбили к этому своими рассказами о приключениях и впечатлениях вашего плавания в Бразилию, Новую Зеландию, Японию и проч.? Взвинтили ее и без того большую фантазию... Ну, а теперь беретесь помочь ей технически выполнить план поступления на пароход.

Сикамбр: Во первых, Степа сама — взрослый человек, а во вторых, не в моем характере отговаривать или увещевать. Не вмешиваться в чужую жизнь и не быть чьей либо нянькой — желаний не имел и не имею.

Керновский: Дело здесь не в нянеченье, а в потакании гадким поступкам. Она, например, пьет с Вами, и Вы, да и другие тоже, восхищаетесь ее успехами в пьянстве, в курении. Это ей вскружило голову. Она бравирует этим и... и... теряет почву под ногами. Нехорошо.....

Сикамбр: (втавая). Тов. Керновский... Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела и никогда не стесняю личную свободу и волю другого... Хотя-бы он бился об стену головой, пускал себе пулю в лоб; или-же: курил, пьянствовал, стриг волосы и надевал штаны... И тем более не хочу и не позволю, чтобы в мою личную жизнь вмешивались-бы и стесняли мою волю. Будьте здоровы! (Круто поворачивается и уходит).

Шумков: Что-же это он? Неужели обиделся?...

Сторм: Анархистствует...

Паша: Не понравился выговор. Скрыть не мог и не хотел... вот и ушел.

Керновский: Один из типичнейших пасынков Америки, который никогда не найдет в этой стране применения своим силам и способностям...

Сторм: Вы думаете, в работе созидательной, но в разрушительной — найдет...

Керновский: Гм-м... (раздумывая). Пожалуй... в артели по разрушению старых построек Нью-Йорка и окрестностей (общий смех).

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ.

Входит Люба с детишками.

Люба: Господа, идите перекусить. А где же Сикамбр? (открывая дверь в переднюю).

Сторм: Разрушать старые „гаузы“ отправился. (Все, кроме Сторма, отправляются в столовую. Люба провожает детей).

Люба: Смотрите-же, не переходите улицу; играйтесь около дома. Валя, слышишь, следи за Лидочкой... Боже, сохрани, чтобы под автомобиль не попали... (закрывая дверь, к Сторму). А вы закусить не хотите?...

Сторм: Нет... Я пойду укладываться. Я уезжаю от Вас. Чемодан я захвачу с собой, а за сундуком после пришло. (Ушел к себе).

ЗВОНOK В КУХНЕ.

Люба: (подходя к дверям и, открывая, кричит) „Алло“... (через несколько секунд раздается голос Крюкова): „Тов. Керновский дома?“

Люба: Да... Войдите пожалуйста...

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ.

Входит Крюков. (На нем визитка, клетчатые брюки, франтовские ботинки, вообще все — с чужого плеча).

Крюков: Здравствуйте.

Люба: Здравствуйте. Присядьте. Я сейчас позову...

Крюков: Я постою...

Люба: (на ходу): Коля, тебя хотят видеть (уходит).

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ.

Входит Керновский.

Керновский: Здравствуйте, товарищ. Ко мне

— по делу?

Крюков: Да...

Керновский: Кажется... Крюков—Ваша фамилия. Садитесь... Только предупреждаю Вас: денег не просите. Во первых, я—не миллионер, а во-вторых, я помогал Вам, сколько мог... Мне передали, что Вы просто не хотите работать, и, давая Вам деньги, я поощряю Вас к лени и... простите, попрошайничеству...

Крюков: Мне доллар один... Мне нужно...

Керновский: Нет. Я сказал — не дам...

Крюков: Ей-богу, не жрал сегодня...

Керновский: От Вас водкой пахнет...

Крюков: (подумав). А ну, на минуточку... отойдите к сторонке. (Керновский в недоумении отходит; Крюков делает жест, что-де еще дальше отойди; нагинаясь начинает скатывать небольшой коврик).

Керновский: Что такое? В чем дело?

Крюков: (молча скатал ковер, надел кепку, положил ковер на плечо и идет к выходным дверям).

Керновский: Товарищ, что это значит? Чего Вы хотите?

Крюков: (громко). Доллар хочу...

Керновский: Ладно. Оставьте это... Положите ковер на место... Нате, вот Вам доллар...

Крюков: (положил на место ковер, раскатал его и взял доллар). Спасибо, товарищ.

Керновский: (провожая, у дверей). Только пожалуйста, товарищ, чтобы это было в последний раз. Это-же из рук вон... Просто нахальство...

(Издали раздается звон и шум скачущих во весь дух пожарных).

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

(Вбегает Люба, немного спустя — Паша, Стефа и Шумков из столовой; Сторм из своей комнаты и подбегают к окнам. Керновский же идет в столовую).

Люба: (кричит вниз). Валя, Лида. Не подходите близко к улице. Отойдите в сторонку. Валя держи Лидочку за руку. Станьте на крылечко, а то сейчас люди начнут бежать...

Паша: (отрываясь от окна и собирая свои

газеты, брошюру и книгу). Люблю смотреть на пожарных... Дух захватывает.

Стефа: А я бурю на пароходе...

Паша: На пароходе бурь не бывает: бури бывают на море.

Сторм: И в стакане воды.

Паша: Матроска... Бежим на пожар смотреть.

Стефа: (надевая шляпу). Идемте.

Паша: (на ходу). Спасибо Любовь Петровна за угощение... Перед пожарным набатом устоять не могу. (Убегают Паша и Стефа).

Сторм: Я тоже... За чемоданом я вечером зайду. (Убегает).

Люба: (декламирует). „Смешались в кучу кони, люди“... Это кажется — единственная вещь в Америке, которая одинаково захватывает всех россиян... без различия убеждений и взглядов.

Шумков: Я понимаю, на что Вы намекаете. Действительно, эта девушка Паша и... как его... Сторм... совершенно противоположного полюса люди.

Люба: Как Вы и Николай...

Шумков: В чью пользу сравнение?

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ.

Керновский: (входя). Дети внизу? (Проходит к вешалке, берет на руку летнее пальто и шляпу; в руках у него портфель). Ну-с я пошел... До свидания...

Люба: (подходит к нему и кладет свои руки ему на плечи). Когда будешь дома?

Керновский: Завтра к вечеру...

Люба: Ну, будь здоров... (целует его).

Шумков невольно взрогнул и отошел к окну. Керновский, предвидя неловкость положения, поспешил с уходом. Люба стоит у раскрытой двери, молча провожая мужа. Слышны шаги уходящего по леснице. Пауза.

Шумков: (повернувшись от окна). Он с Вами не... попрощался. Вы его поцеловали...

Люба: (закрывает дверь). Когда мы узнали, что Вам нужно выехать за-границу, я предложила Николаю пригласить Вас в Америку... к нам...

Шумков: И он конечно спросил Вас: уверены ли Вы в себе. Забыто ли прежнее увлечение... конечно... погребено...

Люба: Да, спросил... А что-же другое между нами было, как не увлечение? Я ему сказала, что случившееся было печальностью... что в то время в партийной, подпольной работе мы все были слишком близки. Наши отношения были слишком интимны, чтобы меня, женщину и только Вашу случайную соучастницу по партийной работе, — эта интимная близость не сбила с панталыку. К тому же между Вами и Николаем слишком большая разница. Это заставило меня невольно заинтересоваться Вами, ближе присмотреться и...

Шумков: В чью пользу разница?

Люба: Разве такие вещи можно взвешивать, сравнивать? Станный вопрос... Он такой настоящий, смелый, сильный... И физически и духовно.

Шумков: Да-а... Ни одним из этих качеств я не обладаю... Какой же интерес я мог вызвать в Вас? Вот тот вопрос, который сильно мучит меня... И тогда и теперь.

Люба: Я признаю человека со всеми его слабостями и недостатками. Таковым, каков он есть. Ведь все равно, совершенства нет. Николай же слишком, если хотите, святой...

Шумков: И он прежде, чем написать мне пригласительное письмо, старался проверить Вас; ваши слова?

Люба: Нисколько... Он слишком доверяет мне. К тому же его отношения ко мне похожи больше на отношения отца к дочери... любимице, баловне... Да, вот и теперь. Разве ему было так необходимо уехать, как раз в день Вашего приезда? Он просто хотел доказать, или показать, что верит мне, моим словам. Бойлся, чтобы невольно не причинить мне боль только одной мыслью, что я могу ошибочно подметить в нем слежку по отношению ко мне, к Вам.

Шумков: (вскочил обхватив крепко голову руками. Первый приступ тоски и сдержанного душевного страдания прорывается. Издаёт тихий стон, прислонившись к стенке).

Люба: Что, что с Вами?

Шумков: (опускается на стул). Ничего - ничего... Простите... Нервы... слишком много и сразу впечатлений.

Люба: Гриша, Вы — не ребенок. Если, действительно, прежнее чувство не заглохло... Вы не должны были принять наше предложение; Вы не должны были пренехать, чтобы страдать.

Шумков: (со слезами). Нет, нет... Не то... Я не рассчитал своих сил: я слишком русский, чтобы мог покинуть Россию в то время, когда на душе так пусто...

Люба: (глядя его голову). Бедный мой... Мальчик мой... Все тот же мальчик....

ЗАНАВЕС МЕДЛЕННО ПАДАЕТ.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.

Ночлежка полу-пролетариев, полубосяков, людей живущих там не в силу крайней нужды, а ради оригинальничанья. Подвал. Стена-колона делит комнату на две неравные части. Сцена не делится аркой и не имеет стенки в глубине. Три—четыре неопрятных кровати, две стоят в длину колоны по обеим сторонам. Другие в большей половине сцены; там стол на авансцене. Вместо стульев, ящики и бочки из под пива. В глубине сцены, в меньшей ее половине, „синк“ (кран с раковиной).

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

При поднятии занавеса Крюков моет пол шваброй, выливая на пол из пивных бутылок остатки. Сикамбр возится около крана. Карузо бренчит на гитаре.

Карузо: Брось ты кран: все равно ничего не сделаешь. Его нужно запереть на другой половине подвала.

Сикамбр: Нужно-нужно!.. Что-же ты дворнику не скажешь?

Карузо: А у самого што? Язык поломается?

Сикамбр: Ну-да, поломается. Ты по-ангельски насобачился, а я тысячу лет проживу — ни рожна не научусь...

Карузо: Дурак, ты... Где слыхано, что по таким клоповникам, как наш дом, англичан дворниками служили... Он брат настоящий русский жлоб. Да, кажись, еще и земляк твой: тоже гродненский.

Сикамбр: Не гродненский я, а Минской губернии, сколько раз я тебе говорил, башка.

Карузо: А мне все равно: минский, гродненский... Все они, вроде как „айриши“... „русские айриши“...

Сикамбр: (с гордостью). Я — минской... Пойду тогда с земляком насчет крана поговорю.

Карузо: Я уже ему говорил: не ходи, он сам сейчас придет. Долбил, долбил ему, что нам-де вода не нужна, чтобы запер кран... „Ежели, починка, говорит, то сами не починяйте: это на хозяйский счет полагается“. Я ему: никакой, дескать, починки не надо, а просто вода нам не нужна... Да вот он и сам пришел.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Джим: (входя). Так, значит, будете русские? Здравствуйте.

Карузо: Здорово, здорово, земляк.

Джим: Какой губернии будете? Можа гродненские?

Карузо: Мы, брат без губернии. Вот только один из нас... (показывая на Сикамбра). Вот он... твоим земляком будет.

Джим: (Сикамбру). Гродненской?

Сикамбр: Минской. Ты его не слушай.

Джим: Тут, через дом, в „ярде“, живет малец — Кирило Деркач... тоже Минской... можа знаешь.

Сикамбр: Нет, не знаю. А ты вот на счет воды постарайся. Там где-то есть кран, так ты его забей: нам вода не нужна.

Джим: Чаво?

Сикамбр: Понимаешь... закон не позволяет нам потреблять воду. Так ты забей или заверни кран.

Джим: Это—что-ж? Веры вы такой? Что воду пить не можете?..

Сикамбр: Да, веры... Не пить, не умываться... Ничего водой нельзя делать.

Джим: Эта можа—духоборы...?

Карузо: Нет, — духоморы...

Джим: Кто вас разберет, кто вы такие. Так я зараз воду заштапую (поворачивается).

Сикамбр: А водки хочешь? Иди выпей...

Джим: Височки? А маешь—дай...

Сикамбр: Вали (налил, подавая). За упокой воды из под крана...

Джим: (выпил). Спасибо.

Сикамбр: А как звать?

Джим: Джимом... В краю звали Юфимом, а молитца куды ездите?

Карузо: Вот это—наш молитвенный дом и есть... Оттого и воду забиваем...

Джим: (повернувшись, махнул рукой). Кто вас знает, какой вы веры есть... (направляется к дверям).

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ.

(В дверях Джим сталкивается с Шумковым, тот значительно выпивши).

Карузо: Вот видишь, как он по-нашему намолился...

Джим: (махнул рукой, уходит).

Шумков: (стоя у двери)... Карузо... „Буйной кровью налились атамановы глаза“.

Карузо: (запевает). „На переднем Стенька Разин, обнявшись, сидит с княжной“... А у тебя не буйной кровью глаза налились, а молоком...

Крюков: Из под бешеной коровы...

Шумков: (приближаясь к столу). Что—вы не пьете, господа. Водка и пиво на столе, а они бездействуют. (Наливает). Вы совсем не любите священнослужения. (Пьет).

Сикамбр: А вы, товарищ, любите... тово уничтожать, а еще ругаете анархистов.

Шумков: (сел на кровать и подпер голову руками). Уничтожать — люблю... А самого главного уничтожить не могу (стучит в грудь кулаком). „Громко свищет соловей — жаркий пыл в груди моей“... Г-м... Разве я когда либо ругал анархистов? Я пожму руку: анархисту, социалисту, монархисту, но... анархистствующих евнухов из седьмой улицы парка — не перева-риваю. Они притворяются: у них нет ничего своего собственного. Так, болотистое племя, наносный ил в голове... да и то американского пошиба.

Сикамбр: Я вас знаю. Вам Ваньки Крюковы, и то дороже всяких анархистов.

Шумков: Ваня Крюков... Что-же, каков он ни на есть, а человек округленный, глубокий притом...

Карузо: Как помойная яма...

Шумков: Нет, я говорю серьезно. У него есть глубина: в его так сказать, деяниях и поступках. Он не хочет и не любит работать, и он последователен: не работает во всю мочь. Он не ленится, как нежинка: не делает это от времени до времени. Не лукавит, не притворяется, а... прямо профессионально не работает... Глубже нельзя... Ты, Ваня, у нас—двойной подвижник: и воды не употребляешь, и не работаешь...

Крюков: (выжимая швабру). А кто здесь, вот, полы моет, как не я? А кто здесь жратву добывает, когда круто, как не я? А на буржуев я еще не работал в Америке ни одного дня и не буду.

Шумков: Совершенно верно, Ваня... Дай руку: я, брат, эту искру божью ценю в тебе больше, чем американские дамы бриллиантовые камни ценят... Карузо, сыграй что-нибудь на гитаре...

Карузо: (беря гитару). И то правда: нужно сыграть. Дай Бог здоровья Сторму: свою гитару не забирает.

Сикамбр: Да где он — я его давно не вижу.

Шумков: Неужели испарился?

Карузо: Да... Месяца полтора не показывается.

Крюков: Уж не окалел ли где-нибудь у американцев своих.

Карузо: Нет, физически он вряд-ли околеет.

Сикамбр: А духовно он давно околел.

(Стук в двери).

Сикамбр: „Коман“...

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Входят Паша, Стефа и Мэри. Паша — в костюме сестры милосердия с пачкой газет и книг под мышкой.

Паша: Здравствуйте, товарищи! У... как у вас тут прохладно. (Проходит на авансцену, садится на кровать, подобрав ноги под себя и углубляется в газеты).

Стефа: И наверное весело: у Карузо в руках гитара.

Карузо: Какими это судьбами Вы сегодня так рано к нам пожаловали?

Стефа: Работу с Мэри искали. Да вместо этого в парк попали. Встретили товарища Пашу, а та и говорит: поедemте „коммунаров“ проведать.

Шумков: За память — спасибо, только мы не коммунары, а подвижники „хижины жаждущих эскимосов“.

Сикамбр: „Не эскимосов“, а „Клуб холостяков“.

Карузо: Эх, ты — „холостяков“; ведь у тебя в Гродненской губ. — жена и двое детей. Стефа, не езжайте с ним в дальнее плавание.

Сикамбр: Не гродненской, а минской...

Карузо: (Разводя руками). Ведь „айриши“!...

Мэри: Можно руки помыть? — Страшно запылились.

Карузо: Попробуйте, Мэри, может еще есть вода.

Мэри: Что значит „есть“?

Шумков: Я-же Вам говорю: мы подвижники и умертвляем свою плоть отречением от воды.

Мэри: Не знаю, что Вы говорите.

Стефа: Иди, иди, мой... Они тебе зубы заговаривают.

Карузо: Да, нет-же, серьезно... (подходит и открывает кран. Шипит—воды нет). Вот видите, нет. Значит дворник забил наш водопровод.

Стефа: Зачем же Вы позволили ему?

Шумков: О чем здесь толковать... (наливает стакан пива). Пожалуйста сюда, уважаемая Мэри—я солью вам. Вы помоете Ваши прекрасные ручки пивом и этим самым приобщитесь хотя отчасти к нашей подвижнической жизни.

Стефа: (с испугом). От пива кожа на руках потрескаться может.

Карузо: А еще мужчина! Боится такого предрассудка.

Крюков: Душу не боится мочить, а руки боится. Разве руки нежнее души?

Шумков: Верно, Ваня — женщины думают, душа не так чувствительна, как кожа их лица и рук... Ну-с ближе Ваши ручки, милая барышня. (Мэри нерешительно моет руки).

Стефа: (подходит к столу). Что-это? Водка? (наливает и пьет). А—это витчина (делает бутерброд).

Сикамбр: И пиво есть, пожалуйста не стесняйтесь...

Шумков: (к Мэри). Мэри, ну, а Вы, после омовения рук, сделайте омовение души.

Стефа: Я таки проголодалась... Сделать Вам, Паша, бутерброд?

Паша: Нет, спасибо—я не голодна.

Карузо: (к Паше). А височки выпьете? (та вскинула на него глаза; Карузо зажал рот ладонью, обращается к Мэри). А Вы?

Мэри: Что Вы... Пиво, полстакана....

Карузо: (наливая). Извольте три четверти стакана.

Мэри: (Отпивая и морщась брезгливо). Я не люблю пьяных и сама пить не могу... Принципиально.

Шумков: А мы вот и пьем-то исключительно по принципу.

Мэри: Хорош принцип...

Стефа: Карузо, спойте что-нибудь...

Карузо: Нет, нет... Уж если Мэри здесь, то я вокально пассую... Мэри, „Чайку“ спойте.

Мэри: Я право сейчас не могу.

Все: Спойте, спойте, Мэри...

Карузо: (берет аккрод). Ну что там... (начинает аккомпанировать).

Мэри поет „Чайку“.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

При последних словах романса появляется **Сторм** в форме американского солдата. Начавшиеся аплодисменты прерываются и общим вниманием завладевает **Сторм**.

Сторм: Браво, браво, Мэри...

Карузо: Это что еще за военное нашествие? **Сторм...**

Сикамбр: Тьфу ты, „мелочи повседневной жизни!..“ Погань американская! Гляди на него!

Сторм: (стоя у дверей). Чего окрысились?

Шумков: Что сей маскарад означает?

Сторм: Не маскарад, а перед вами действительный солдат армии Северо-Американских Соединенных Штатов. (Начинает по-очереди здороваться за руку).

Шумков: Да, батенька, удружили. Сикамбр всегда предсказывал, что за республиканцев будете голосовать. А это уже близко к тому...

Сикамбр: Близко... Но только по другую сторону: шагнуло за республиканское голосование.

Сторм: Совсем нет. Эта форма несколько не изменяет моих убеждений и несколько не влияет на ход задуманной мною цели: в Америке я буду ездить на собственных автомобилях и жить в собственном особняке. (Приближаясь к Паше). О, не я один шкурно преобразился: Паша — тоже (подавая ей руку). Здравствуйте...

Паша: Я вам руки не подам...

Сторм: Почему?

Паша: Потому что видеть на вас эту форму... считаю не порядочным поступком с Вашей стороны.

Сторм: Почему же ТАК?

Паша: Потому что Вы... Уж не скажете-ли, что Вы это сделали по убеждению... принципиально...

Сторм: А Вы будете уверять, что Вы (бросая жест на ее форму)... по принципу? Прониклись неслыханным желанием помочь немощным сего града? Взялись облегчить их страдания?

Паша: Нисколько! Я готовлюсь на медицинские курсы. В больнице я имею урывками, но в общем больше свободного времени, чем на фабрике. Кроме того эта работа помогает мне учиться и подготавливаться и теоретически, и практически.

Сторм: А откуда Вы знаете, что мною при поступлении в армию не руководили эти же самые соображения. Моя цель тоже—исключительно ученье. Армия дает мне и время и бесплатное ученье.

Паша: Поступая в сестры милосердия, я не изменила своим принципам. Я работаю, и только. Позора в своей работе не вижу, вреда никакого не приношу: ни рабочему классу, ни освободительному движению. Я могла-бы и будучи в России с такой же совестью работать в госпитале.

Сторм: Я-тоже: принципам не изменил и вреда никому не приношу....

Паша: (вспылив). Врете... называя себя социалистом и идя в армию, которая в случае нужды будет стрелять в рабочих, — Вы поступаете по принципу?... Таким людям, которые, бежав из России от солдатчины, потому что это было для них невыгодно и которые поступают в американскую армию, потому что это для них выгодно, — я руки на подаю...

Сторм: Оставайтесь при своем мнении... но повторяю: мы с Вами более всего походим друг на друга. Мы стремимся к одной цели, но только идем к ней различными дорогами.

Сикамбр: Один помогает возвращать людей на этот свет, а другой помогает отправлять людей на тот свет. Ничего не поделаешь: „нужды повседневной жизни“.

Паша: (к Сикамбру.) Позвольте, Сикамбр (к Сторму, отчеканивая каждое слово). И цели столь же различны, как различны дороги... Моя цель: получить медицинское образование, и, поехав в Россию, принести посильную помощь невежественному, забитому люду. Ваша же цель... Ваше излюбленное выражение: „ездить на автомобилях...“ иначе говоря: ездить на чужих спинах... быть паразитом...

Карузо: Ну, будет... Обменялись любезностями и ладно; пойдемте в парк шататься.

Девицы: В парк, в парк...

Крюков: Поехали. Вы, циплята, вперед, а то в коридоре темно. Карузо любит спотыкаться в темноте.

Сикамбр: (на ходу). Когданибудь промахнется. (Все уходят).

Шумков: (тоже хочет уйти вслед за всеми и уже готов надеть шляпу).

Паша: (ему). Вы оставайтесь: мне нужно с Вами поговорить.

Шумков: Со мной? На счет чего?

Паша: Узнаете...

Шумков: (закрыв дверь). Весь к Вашим услугам.

Паша: Давно Вы с „Вашей“ этой фармы приехали?

Шумков: Да... То есть недели две... две с половиной...

Паша: У Керновских были?

Шумков: (нахмурившись, после паузы). Нет...

Паша: Николай Андреич видел Вас?

Шумков: Да, был здесь...

Паша: Уговаривал?

Шумков: Предлагал услуги... Товарищескую помощь и проч... Будто мало уж этой помощи мне было оказано!

Паша: На чем же Вы с ним порешили? К какому результату привела Вас эта дипломатическая беседа?

Шумков: Обещал зайти еще раз (повысив тон). Я-же решил ехать в Россию. Советовал Любовь Петровне и ему плюнуть на меня.

Паша: Когда и каким образом Вы решили ехать в Россию? Ведь у Вас и гроша за душой нет...

Шумков: Уеду... Как можно скорее. Денег я дост... я заработаю. Да.. да не иначе, как заработаю. Вот этими руками.

Паша: Выйдет то же самое, что с Вашей пресловутой поездкой на фарму...

Шумков: Нет, нет... Это пустяки. Наконец Сикамбр, Карузо помогут, научат, устроят на пароход кочегаром... чемнибудь.

Паша: Что Вы фантазируете? Вы забыли про письмо Миловидова? Вы и против него поступали „по свойственной Вам опреметчивости“, — не хорошо. Он поручился перед своим папашей—прокурором за Вас, а Вы перед отъездом позволили какому то прохвосту, сделавшему экс-проприацию, в свою личную пользу, — свалить на Вас всю вину и даже оставили фиктивную исповедь... Вы это уже забыли. Уже едете в Россию. Эх, Вы...

Шумков: А, да все равно: там-ли... здесь-ли... Законопатят в тюрьму — туда и дорога.

Паша: А мне и подавно все равно. Вот что: Любовь Петровна хочет Вас видеть.

Шумков: Где она? (беря шляпу). Я иду. Почему Вы мне раньше не сказали?

Паша: Не торопитесь. Вам никуда не нужно идти. Она сама придет сюда...

Шумков: Сюда...? — В эту трущобу?

Паша: Ну, да, да, да... Что Вы из себя наивного юношу разыгрываете? Отбросьте эту Вашу российскую церемонность. Подумаешь — какой фон-барон, не может даму принять в подвале.

Шумков: Если бы только подвал, а то ведь чорт знает что: пивные ящики, бочки...

Паша: А Вы то и оригинальничать хотите исподтишка?

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ.

Входит Джим, за ним Люба.

Джим: Вот тут, кажись, до Вас пришли. (Проходит и возится с краном).

Паша Любовь Петрова! — Это Вы? Проходите. Я вас в парке подожду. (уходит)

Люба (из дверей) Сюда что-ли?

Шумков: (подбегает к ней). Сюда, сюда... Хотя на самом деле совсем не сюда. То есть Вам бы сюда совсем не следовало заглядывать даже...

Люба: (подавая руку). Прежде всего — здравствуйте. И почему собственно мне нельзя сюда заглядывать? „Гора не подошла к Магомету, так Магомет подошел к горе“.

Шумков: Э... Э... Э как тебя? Джим... Что все уже в исправности?

Джим: „Ваду заштаповал“. Вот не идеть...

Шумков: И отлично. Можешь идти... Когда надо будет опять позовем...

Джим: (на ходу). Кады нужно что—кликни. Кады тут не буду, в суседском буду. Я коло обох гаузах obsługую. (Уходит).

Люба: (Проходя на авансцену). Что это: фермерский, быть может, обычай—не посещать своих друзей, когда приезжают в город?

Шумков: Стоит-ли на это обращать внимание...

Люба: Не стоит? (переменив тон). Почему Вы приехав с фермы не захотели к нам заглянуть?

Шумков: (после паузы). Право, не знаю, что Вам ответить на это...

Люба: Правду или ложь?

Шумков: Пожалуй...

Люба: А я думаю, что я заслужила у Вас и кусочек правды...

Шумков: (со вздохом). Горькой?

Люба: Гриша, скажите так неужели-же все это было?...

Шумков: (перебивая). Напускное...

Люба: Я знаю—Вы чистый, хороший, честный. И если бы это было не искреннее „напускное“, Вы бы не стали жить рядом с нами, вместе с нами.

Шумков: (раздельно). Не стал-бы... что я, как видите, и сделал.:

Люба: (нахмурившись, села). А когда Вы получили наше приглашение и затем—когда ехали в Америку, — Вы не находились под тя-

жестью наших прежних... отношений. . .

Шумков: Мне казалось: не находился. . .

Люба: Почему Вы вдруг уехали от нас... на ферму?

Шумков: До некоторой степени руководили материальные обстоятельства. Они же руководили и тогда, когда я решил не показываться к Вам, а жить вот здесь. . .

Люба: Неужели Вы будете меня уверять, что стесняетесь нас „эксплуатировать“? Вздор... Вы слишком интеллигентны, чтобы придавать серьезное значение: это — твое, а это — мое... Я знаю Вас. Вы без всякого колебания можете отдать последнюю рубашку другому, но и без всякого нажима совести возьмете чужое, если Вам будет это необходимо. Следовательно, Вы удрали не из-за материальных условий, а по другой причине. Зачем и куда Вы от нас ушли?

Шумков: Пить. . .

Люба: Гриша... (подошла и села рядом с ним). Вы пьете? Вы злоупотребляете этим? Да?

Шумков: Не злоупотребляю, а врачуюсь. . .

Люба: Ради меня... Помните... тогда... там, еще в России, Вы ради меня бросили. Я попросила Вас и Вы оставили пить.

Шумков: Это было, быть может, лестно для Вас, но... Ах... как тягостно и горько для меня. . . .

Люба: Зачем? Ну, зачем пить?

Шумков: А затем, что человеку свойственно опья-ня-ться... Одни опьяняются славой; другие — богатством; третьи — лаской; ну, а иные (указывая на грудь) наименьшим сопротивлением к достижению — водкой. . .

Люба с грустью смотря мимо него, взяла его руку и поцеловала.

Шумков: Зачем? Люба... Рука грязная — воды нет. Мы без воды живем. . .

Люба: Чистая, Гриша, чистая!.. О, да — без воды... слыхала. Мальчики Вы, невинно забавляетесь. Так вот эта подвижническая келья (оглядывает комнату). Мне Паша и Стефа много говорили, когда еще здесь жили, ну... эти... как их... из шайк... из группы Савицкого, что в Россию уехали. Я еще тогда подумала: вот

уголок для Гриши, когда на него хандра находит. . .

Шумков: Спасибо, что вспомнили. За память — спасибо. За добрую память. . .

Люба: Ну. . . Гриша. . . Я пошутила. Вот какой. . . Уже и обиделся. . .

Гриша: Несколько. . . Каждый может вспомнить и по-ми-нать, как ему заблаго рассудится.

Люба: И Вы тоже бывшее чувство ко мне поминали. . . Говорили: Надгробную снесли, похоронили, да. . .

Шумков: Да-а и дубовый крест поставил, а. . . покойник-то оказался живым. Заживо погребенным. . .

Люба: Как же такая оплошность произошла?

Шумков: Недоглядели. . . Няньки не было, а я без няньки — никуда-с. . .

Люба: Это — шутка, но правдоподобная. Нянька Вам нужна, это — действительно. И вот я пришла предложить Вам свои услуги: стать нянькой. Хорошей, зоркой, преданной нянькой. Хотите нянчиться? Принимаете услуги? . . .

Шумков: Любовь Петровна, Вы пришли смеяться надо мной, издеваться. . . Это на Вас не похоже. И Вы не должны, тем более надо мной, и именно к тому же теперь, когда я решил уехать в Россию. . . Быть может это — последняя наша встреча. Да-да-да — последняя. . . И хорошо, что так случилось. Я думал, как это устроить? Сделать незаметным мой отъезд? Ну, а теперь Вы пришли и получилось просто. . . само-собой. И отлично (Люба смотрит на него с каким то испугом). Что Вы смотрите на меня так?

Люба: Вы решили? Уже решили ехать в Россию (встала, стремительно подошла к нему). Нет, Вы этого не сделаете. . . Вы в Россию не поедете. . . . После всего, что Вы натворили при своем отъезде, Вам грозит, если не виселица, то каторга. . . ссылка. . .

Шумков: Тем лучше. Тем лучше. Чем хуже, тем лучше. . . .

Люба: Гриша. . . Вы не поедете. Я не допускаю, что бы мне это ни стоило. Я думала прежде, что Вам нужна нянька. . . вот теперь, только на время, А теперь, я вижу, Вам нужна нянь-

ка, чтобы предостеречь Вас от рокового шага, от гибели. Я не допущу, не допущу...

Шумков: Люба... Зачем ты... ~~зачем~~ **Вы** пришли? Вы — честная, прямая женщина, самоотвеженная мать, преданная искренняя жена и... вдруг взбираетесь на самый край такой опасной пропасти... И там... тогда в России и вот... сейчас...

Люба: Опасность... пропасть... Бросьте эти громкие, трескучие слова... Давайте быть искренними, а не корчиться в судорогах и конвульсиях от своего собственного, напускного кликушества....

Шумков: Люба... Ты решилась? Ты—моя? Вся—моя (стремительно направляется к ней).

Люба (отступая шаг назад): Вся? Откуда Вы взяли, что я — вся Ваша? Что я всю себя хочу Вам предложить?

Шумков: (кричит беспомощно). Так что — же Вам, наконец, от меня надо? За что Вы меня мучите? Зачем сами пришли? Зачем Николая присылали?

Люба: (снова убирая показавшиеся на мгновение коготки „женщины“). Вот он уже полон отчаяния (страстно и нежно). Да-да... я твоя. Твоя нянька. Твоя мать. Любящая, любящая мать... (сели... глядя по голове). А детка сильно страдает?...

Шумков: (склонив голову к ней на грудь) Очень... очень сильно страдаю. Часто не под силу... Душа надтреснута. И рана... большая рана на душе. Сил не хватит все это перенести, не задохнуться, не надорваться....

Люба: А я-бы разве могла залечить? Я ведь старенькая. Старше тебя. У меня ведь и еще дети есть: Валя и Лидочка. Полной лаской я не смогу...

Шумков: И не надо; не надо. Мне только чуточку ласки. Не сострадания, не милосердия (целуя у нее руки. Люба целует его в голову), а ласки женщины, ласки любимой.

Люба: И ты любишь меня так сильно, что за этим чувством не видишь других, молодых, свободных девушек. Девушек, которые не испытывали даже и первой любви.

Шумков: Я никого не вижу. Для меня другие женщины — чуждые, холодные, души. У них нет для меня ласки...

Люба: Но ведь ты не станешь уверять, что за это время... ну, когда ты... мы..., когда у нас вышло «это» в России и до сегодняшнего дня ты не знал других женщин. Ты будешь уверять, что нет....

Шумков: Да-а... Ну это, видишь-ли, можно сравнить: вот... я ходил и смотрел дрянной балаганишко. И в этом балагане мне все-все было доступно: сидеть в первом ряду, на первом месте... словом... все... И вдруг я имею возможность видеть что-то художественное, божественное, райское и... сидеть где-то там... далеко... далеко, на галерке... Вот также и с тобой... Эти крупницы ласки, что ты дала мне; что были брошены с пиршества Николая, — для меня ценнее, пышнее тех „полных“ ласк женщин, о которых ты намекаешь.

Люба: (лаская его лицо руками). Не надо, не надо...

Шумков: (ловит ее руку и целует).

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Входит Керновский.

(Он вошел при последних словах; когда Шумков поцеловал руку Любы, у него вырвался невольный глухой стон).

Шумков: (услышав стон, отшатнулся и направляется к дверям). Кто там? (отступая) Николай?...

Люба остается в прежней позе — неподвижная и хладнокровная.

Керновский: (смотря мимо Шумкова на жену). Вы... меня обманывали... Смеялись надо мной...

Люба: (взглянув на мужа просто, с грустной улыбкой). Смеялись... Эх, Николай!... Какой тут смех? И обмана нет никакого... Не смеялись и не обманывали.

Керновский: Вы говорили, что между Вами все кончено. Что те чувства, которые вспыхнули, и только вспыхнули, еще там... в России — погасли... Что в Америке Вы встретились лишь как друзья; и как таковые будете смело смотреть друг другу в глаза...

Люба: А ты и поверил нам? Таким как он... как мы нельзя много доверять: мы сами не ругаемся за себя.

Керновский: Что это значит?

Люба: Мы не претендуем на сильных и смелых. Ты-же всех судишь по себе. При всей твоей практичности и уравновешенности, ты доверчив, слишком доверчив. Ибо у тебя неправильное мерило — это ты сам... Этой мерой ты пробуешь мерить других. Ты тысячу раз получал удары и не научился на людей смотреть с опаской: подвергать немного анализу все их слова и решения.

Керновский: Что-же, по-твоему нужно относиться ко всем с подозрением? Нужно не верить людям? Игнорировать за ними? Не считать их разумными существами, имеющими волю, разум, достоинство.

Люба: Не то, не то.. Нужно... Вот именно тебе нужно смотреть на людей как на слабых, а не как на равных тебе... Нужно не то чтобы не верить им, — потому что подчас они сами верят в то, что говорят и делают, — а нужно угадывать, или скорее, в твоём духе, вычислять, когда человек говорит правдиво, логично, а когда увлекается, заблуждается. И когда задуманное ему под-силу, а когда абсурд... Вот мы, например, — я и Гриша: мы заблуждались и то, что мы бесповоротно решили, оказывается было совсем нам не под-силу... И вот ты-то, один ты, и должен был предотвратить это, указать нам на наши заблуждения. А то получилось: мы мягкотелые варились в своем собственном соку, дрались с ветряными мельницами, будучи уверены, что мы вышли победителями, поборов в себе все слабые инстинкты, — а ты... ты был безучастным свидетелем всего этого.

Керновский: (со вздохом). Странно... и не понятно как-то... Люди рассуждают и поступают как следует, а им нельзя верить. На логическое нужно смотреть как на абсурд. На нормальных нужно смотреть, как на умалишенных. На трезвых, как на пьяных... Странно.

Люба: Странно? Пусть будет странно, но — так. С этим нужно считаться, как с совершившимся фактом и нужно решить....

Керновский: Безусловно. Нужно... нужно... вот теперь-же... сейчас-же... Как раз все трое на-лицо. Теперь и я Вам помогу, если так. Если моя помощь... я готов. Ты, ведь, говоришь, что я и прежде должен был что-то за Вас вроде решить, Вас направить... помочь что-ли, я и сам не разберу... По-моему, если человек сделал известный вывод, то и кончено... и все что нужно. Остальное: применить к жизни, провести в жизнь — это уж функции второстепенные...

Люба: Для тебя — да... Но для нас, наоборот. Мы можем тысячу раз делать выводы, приходить к известному результату, теоретически выполнять, а на деле, на практике: самоуничтожаться и падать...

Керновский: Это так отвлеченно, так эфемерно... Я этого не понимаю. Что для меня пока ясно и существенно, так это то, что мы должны сейчас исправить прошлое и как разумные существа заняться созданием разумного, отбросив все тлетворное, чтобы оно снова не грозило опасностью.

Люба: Что ты этим думаешь и каково твоё предложение?

Керновский: Все ясно. Вы не должны больше обманывать себя. Раз не верите в свои силы, не верите, что можете удержать баланс, накопившейся энергии, — Вы должны быть изолированы друг от друга... Самое рациональное — это Грише нужно уехать.

Люба: (сидит с низко опущенной головой). Уже поздно...

Керновский: Что? Что значит поздно?

Люба: (встала, решительно). Это невозможно. Предложение твоё на твой взгляд быть может и рациональное, но... запоздалое.

Керновский: (глядит на жену, желая вникнуть в смысл сказанных ею слов). Не думаешь же ты... оставить меня... и... сойтись... ну как в этаких случаях говорят... сойтись с ним?

Люба: (раздельно и отчетливо). Да. Да. Да.

Керновский: А дети? Ты... Неужели ты забыла о детях? Дети... Ведь это самое главное, самое решающее.

Шумков: О, совершенно верно. Ведь это дей-

ствительно самое главное. Мы забыли... Я упустил из виду. Как-то не подумал даже...

Люба: (к Шумкову). Не подумал даже? Неужели? А я вот — нет: я это всегда имела в виду... (к мужу). Ты же не бросишь мне упрека, что я была не преданной матерью?

Керновский: Нет, нет... Ты — самая примерная мать, каких я встречал когда-либо. Это — не комплимент. Я и говорю: дети для тебя — все. Я это по крайней мере так считал.

Люба: И ты не ошибся. И... все-таки я оставляю их. Расстаюсь с ними, потому что они имеют сильную опору. А вот он, если сейчас лишится меня, останется даже без соломинки, за которую бы мог ухватиться...

Керновский: Все это очень чуждо для меня. Это, прости меня, какой-то кошмар. Но я верю тебе... Верю, что делаешь что-то, следуя всецело влечению сердца. Я-же жил и находился всегда под контролем рассудка. Поэтому мы не можем понять друг-друга. То есть, я не могу всего охватить своим разумом.

Люба: Я понимаю тебя. Короче: у одного из нас больной, а у другого здоровый кругозор мышления. Но это в данном случае не имеет значения. А что важно, так это то, чтобы мы отнеслись с доверием один к другому: будем уважать друг в друге личную свободу и не стеснять волю.

Керновский: Будем, да, да, будем... Со своей стороны я обещаю... А теперь вернемся снова к детям. Что ты решила и почему? — Поясни...

Люба: Я — главная виновница во всем последующем. Следовательно я и должна выбирать, но по уговору не стесняя волю другого, т. е. поступать не в свою пользу. Следовать наперекор понятиям о захватном праве. (Закусив губу, сухо и решительно). Дети остаются с тобой. Я иду к нему одна.

Керновский: Но это — самопожертвование. Я не хочу и не могу допустить с твоей стороны никакой жертвы. Помимо того, что это было бы жестоко с моей стороны, это не гармонировало бы с моими понятиями о любви и преданности к тебе.

Люба: А тебе разве так хочется подчеркнуть

твою преданность и твою любовь ко мне? Милый мой, славный Коля! Тебе не нужно подчеркивать. Светлее того чувства, какое ты питаешь ко мне, — ничего нет. Уж я-то знаю. Ты, как и прежде, не только хочешь все простить своей девочке, — ведь я в твоих глазах и теперь еще девочка, — но еще хочешь на свою грудь принять все удары, причиной которых являюсь всецело только я. Нет «Пусенок», пусть и моя грудь хоть раз окажется под ударами... Я теперь должна закалять себя: мне предстоит главная инициатива в будущей жизни.

Керновский: (подумав). А я... все-же буду взвешивать и решать по-своему. А по-моему выходит так: ты — мать, твоя преданность к детям не то, чтобы сильнее, но как то чувствительнее, физически ближе... И поэтому твои страдания, в случае лишения детей, будут сильнее моих. Для детей-же разлука с одним из нас — безразлична и, пожалуй, больше говорит в твою пользу... На этом мы и покончим. (Наставнически). Ты должна послушаться меня и подчиниться решению этому...

(Люба протягивает к нему руку. Тот жмет. Она крепко целует его в губы. В ней как-бы все обрывается. Она идет и опустив голову садится на ближайшую кровать).

Шумков: Вы, Николай, великодушны... (протягивая руку). Простите-же нас... Меня... За все то... (обрывается не получив ответного пожатия. Керновский от него отворачивается).

Люба: (с укором умоляюще). Николай... Коля... Он — страдает... Ты — не цельный. Ты идешь вразрез своим прежним словам.

Керновский: (не глядя на Шумкова, дает ему руку.) Я сейчас уезжаю в Питтсбург по делам на неделю. За это время ты все устрой... устройся... Деньги в моем письменном столе... Помощь товарища... друга... Ты не должна стеснять себя... Это — тоже условие... Мое... Прощайте. Если можете, будьте счастливы... (стремительно уходит).

Шумков растерянно смотрит то на дверь, то на Любу. Медленно подходит; тихо опускается у ее ног, кладя голову ей на колени. Та гладит его голову и начинает беззвучно плакать, роняя слезы ему на голову...

ЗАНАВЕС.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.

Бедная комната глубокого „Ист-Сайда“. Направо дверь в спальню; налево окно; в глубине немного правее, входная дверь. Посредине стол с клеенкой; налево кушетка. В правом углу—газовая печка, кран с раковиной и шкаф с посудой. Налево от входных дверей вешалка, а далее шкаф с книгами. В левом углу куча детских игрушек. Под печкой вакса и щетки. На стенках революционные картинки американского образца.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

На столе чернила, бумага, протокольные книги и прочее. Шумков лежит на кушетке, прикрыв лицо газетой. После небольшой паузы раздается стук в дверь. Шумков, отбросив газету, приподнимается. Стук повторяется.

Шумков: (быстро подходит к столу; вынимает пробку из чернильницы, раскрывает протокольную книгу, берет ручку и идя к дверям, кричит:) Кто там?

ГОЛОС Карузо за дверьми: „Семьянин“, отвори.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Шумков: (открывая дверь здоровается). Карузо! Какими судьбами? Когда едешь в Россию?

Карузо: (садится, развалившись на кушетке). Со следующей партией.

Шумков: А как с семьей? (Карузо в неведении пожимает плечами; нерешительно). Ты меня, товарищ, прости. Обыкновенно не принято вмешиваться в чужую семейную жизнь, но я интересуюсь насчет Мэри: как она? И что с Вашими детьми случилось?

Карузо: Видишь-ли, товарищ Гриша, обыкновенно не принято вмешиваться в чужую семейную жизнь, а я... и в свою не вмешиваюсь.

Шумков: (улыбнувшись, затем со вздохом). Не даром значит она «Чайку» любила петь.

Карузо: У тебя водка есть?

Шумков: Нет. Я дома не держу.

Карузо: А деньги?

Шумков: Тоже нет. Подожди жена с работы придет. У нее всегда есть. Устроим общий.

ужин и выпьем (разбирает кое-какие бумаги и начинает что-то переписывать).

Карузо: Она все там-же... пуговицы к жилеткам пришивает?

Шумков: Там...

Карузо: А сколько ты за это время переменял „Дрилл-Прессов“?

Шумков: Не считал.

Стук в двери.

Шумков: Войдите.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ.

Входит Паша с докторским саквояжем. Одета просто, но дорого и изящно.

Паша: Здравствуйте.

Шумков: Доктору, мое почтение.

Карузо: Кого я вижу... доктор Паша... Правда, что американские доктора не любят когда их величают без сана докторского? И при том этим тщеславием одержимы все положительно доктора: и радикальные и хулиганские.

Паша: Это так-же верно, как и то, что бездарные певцы любят присваивать себе клички знаменитых певцов. (Карузо, закрыв ладонью лицо, твякнул по собачьи - аав).

Шумков: (хлопнув в ладоши). И с дипломом не дает себя в обиду.

Паша: (деловито). Любовь Петровны еще нет? А где дети?

Шумков: Нет. А дети еще не приходили из приюта.

Паша: Она меня просила сегодня придти. Дети что-то на горло жалуются... В чем дело?

Шумков: О, просто Люба хочет перед отъездом в Россию сделать им операции: миндали вырезать.

Паша: Отлично. Скажите, что я зайду. Я сойду в аптеку, позвонить в офис.

Шумков: Хорошо... Слушайте, Паша. У меня сейчас нет денег. Дайте пожалуйста сентов 50. После, когда жена придет, я отдам. (Паша дает монету).

Карузо: (вставая). Вот кстати. Говорят,

что Вы с товарищей за визиты и вообще за лечение денег не берете. Так вот... болеть я не предрасположен, а своего даром упустить тоже не хочется. Так Вы уж мне того... лучше наличными... Визита за два. Почему они у Вас идут... эти визиты?

Паша: В этом смысле, Карузо, я не считаю себя у Вас в долгу... Я — не ветеринар. (Шумкову). Не забудьте сказать Любовь Петровне, что я буду. До свидания. (Ушла).

Шумков: (тычет на Карузо пальцем). „Ты все пела — это дело, так поди-же, попляши“.

Карузо: (чешет затылок). Промаяхнул.

Шумков: (давая полтинник). На один заряд еще имеется. Ступай.

Карузо: (идя напевает).

„Выпьете бакалы за любовь за счастье,
Чтоб миновали горе да ненастье“.

(Уходит).

ГОЛОСА ЗА КУЛИСАМИ.

Голос Крюкова: Семьянин дома?

Голос Карузо: Поди сам, да посмотри.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Крюков (входя): Семьянин!.. Уезжаю за счет товарища Милюкова с завтрашней партией (здороваются).

Шумков: Счастливого пути, Ваня. Куда направляешься? В какую часть России?

Крюков: Да разве-же я сам знаю! Поеду через всю Сибирь, Россию с кличем: „Долой войну!“

Шумков: Смотри — свяжут.

Крюков: Руки коротки! Мы их там покажем, несчастным либералишкам. Мы кровь свою проливали. В тюрьмах нас гноили, в ссылке, в Америке, — а они будут наши плоды пожинать! Этот, секретарь по отправке, тоже: „Вам мы не можем дать пропуска — Вы не политический“... Я ему показал „не политический“...

Шумков: Это, Ваня, тоже нехорошо. Некрасиво.

Крюков: А то было красиво, как я Вас всех кормил столько лет: и политических и неполи-

тических. Ты посчитай, сколько я бутылок молока спер, да бубликов, под дверьми мирных обывателей Нью-Йорка, Бруклина и Бронзвилля (горячась). Да я может для Вас, политических, сделал больше, чем все „Общества помощи ссыльно-поселенцам в Сибири“, взятые вместе, не сделали.

Шумков: Памятник, Ваня, памятник тебе следует поставить.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

(Карузо входит с пением).

„Как цветочек в поле
Аромат разносит,
Так бакал налитый
Тост заздравный просит“
(к Шумкову). Где стакан?
Все: (подтягивают).

„Выпьемте-ж бакалы за любовь за счастье,
Чтоб миновали горе да ненастье“.

Шумков: (в это время убирает бумаги на край стола и подает рюмку, чашку и стакан. Наливает). Подходите! Вот ты, Ваня, кстати: выпьем посошек на дорогу.

Карузо: (и все берут свою посудину). К чорту Ваню. (поет).

„Выпьемте-ж за Нину, Нину дорогую,
А пока не выпьем, не нальем другую“.
(выпивают). Никакого посошка. Он должен нам устроить прощальную пирушку сегодня. Верно, Ваня, устроишь?

Крюков: Нет, братцы, истратился. Все деньги на одежду потратил.

Карузо: Глупо и только.. Ничего не вези. Вези только свой опыт, многолетний опыт стреляния по интеллигентам.

Шумков: Теперь — по второй. Ваня, за Россию, за родину-мать.

Карузо: „За любовь, за счастье“ (пьют).

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ.

(Входит Люба, слегка постучав. В руках у нее покупки).

Люба: (неожиданность встретить выпивающих на миг как-бы смутила ее. Смущение сейчас-же перешло в неудовольствие). Здравствуй-

те. По какому это поводу вышивка? (бросает покупки на стул около печи).

Шумков: (идя к ней навстречу). Да вот с завтрашней портней Ваня уезжает.

Крюков: Прощайте Любовь Петровна. Не забывайте лихом (подает руку). Карузо, идем со мной; поможешь уложиться. И пирушку ребята в Бруклине устраивают — проедемся.

Карузо: Ладно. Можно и так.

Крюков: Обнимемся, товарищ Шумков (обнимаются и целуются). В России увидимся?

Шумков: Наверное. Будь счастлив, Ваня (проводит их к дверям; те уходят).

Люба: (установка села на ближайший стул. Апатично растегнула верхнюю кофточку, держа в одной руке шляпку, а другой поправляет прическу). А где дети?

Шумков: Видишь-ли... я за ними не заходил...

Люба: Мы-же утром уговорились, что ты прямо с работы зайдешь в приют и возьмешь их домой. Какой ты право странный.

Шумков: Видишь-ли, Люба, я сегодня не работал. У нас было маленькое комитетское собрание. Потом нужно было пойти в консульство, похлопотать за одного отъезжающего, да вот переписать это (показывает на стол).

Люба: (пахмурившись, закусила губу, качая головой). Это мне совсем не нравится... Ведь решили-же подтянуться. У тебя большое самолюбие в мелочах, а на деле, так у тебя ни силы воли, ни последовательности не хватает. От Николая помощь брать запретил... Даже для детишек. На казенный счет тоже ехать не хочешь. И чтобы самому приложить все старания: работать и скопить пару долларов, — ты не можешь, не хочешь.

Шумков: Ну зачем опять об этом?

Люба: (махнув рукой). Писем не было? Никто здесь не был? (Разворачивает на столе покупки).

Шумков: Я и забыл тебе сказать — Паша была, детей хотела осмотреть.

Люба: Да, да... Я просила ее. Что-же она, обещала еще зайти?

Шумков: Да. Она вниз телефонировать пошла... Ты Люба не раздевайся (указывая на покупки). Оставь это — я сам разберу. Сходи за детьми...

Люба: Мне пойти? А как-же с ужином? Дети придут голодные. Иди ты: эти бумаги от тебя не уйдут... Я скоренько займусь (сняла кофточку, достала миску, вложила туда кое-что, вообще приступила к хозяйничанью). Ах, как это нехорошо; что дети так долго там остаются. Из-за этого одного хотелось-бы поскорее в Россию. (Оставила работу, вздохнула, устремив куда-то взор). Неизвестно, что еще там их ожидает...

Шумков: (Убрав бумаги в книжный шкаф). Не надо! Ну зачем об этом?

Люба: Бедные детки... (утирает глаза носовым платком).

Шумков: (подходя). Что это? Опять?... Жалеешь о случившемся? Люба!... Да?...

Люба: (как бы очнувшись). Оставим это.

Шумков: (целуя ей руки). Нет, скажи — жалеешь?

Люба: (целуя его в голову). Иди... иди за детьми. Бедненькие мои. Ведь они так скучают по своей маме за целый день... Иди-же...

Шумков: (надевая шляпу у дверей). Только с условием: никаких мрачных размышлений.

Люба: Ладно, ладно... Иди... (Шумков уходит).

(Одна-садится). Как я устала! Как я устала! В Россию! в Россию!...

(снова принялась за работу. Пауза. Стук в двери). Войдите...

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ.

Входит Паша. Молча кивает несколько раз головою. Снимает шляпку и бросает саквояж под стенку у дверей.

Люба: (направляясь к ней). А-а... дорогой врач и хирург! (целуются).

Паша: (беря Любу за обе руки повыше локтей и заглядывая ей в глаза). Как мы проживаем? Устали... устали... Грусть в глазках. Взгрустнулось? (берет за талию, усаживает и усаживается сама возле). Серьезно: как себя чувствуете? Голова не болит? Вы ведь жалова-

лись, что не можете привыкнуть к трамвайной езде.

Люба: Привыкла. Вообще, чувствую себя сравнительно хорошо.

Паша: Сравнительно?

Люба: Ну, да... сравнительно. Вот только сейчас что-то взгрустнулось. Детей еще до сих пор не взяли из пансиона. Гриша „упустил“ из виду. Да вот еще Гриша беспокоит...

Паша: Гришечка... Он, кажется, у Вас самый младший. Просто — „бэйби“, грудной еще ребеночек. Что-же у него: зубки прорезываются, или коготки тупеть начинают?

Люба: (Улыбаясь; ущипнув за подбородок). Добрая Вы, Паша...

Паша: Добрая?

Люба: Да... ко мне... Кажется ко мне одной Вы и добрая... Из всей русской колонии ко мне...

Паша: Это, пожалуй, и правда. Да, пожалуй, и то правда, что Вы у нас одна и есть такая... Настоящая. Живете и кажетесь такою, какая Вы есть. Бабского, правда, у Вас много...

Люба: Что? Бабского? Вот-те и раз...

Паша: Ну, этого... женского. Вы цельная женщина и это женское у Вас — приятно для всех: для мужчин и для женщин. А полюбив Вас, можешь все простить Вам... Гришечка же Ваш — так тот уже нечто среднее между женщиной, бабой и женщиной и полюбить его может тоже, в свою очередь, только какое-нибудь исключение.

Люба: (шутливо треплет ее за ухо). Вот-вот-вот Вам... эскулапский сатир.

Паша: (хватает ее за руку и целует в щеку).

СТУК В ДВЕРИ.

Обе невольно схватываются.

Паша: Войдите.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ.

Входит Керновский. Долгое молчание. Паша отошла к окну; нахмурив брови глядит на улицу. Керновский и Люба глядят друг-другу в глаза. Наконец он кладет портфель и шляпу на ближайший стул.

Керновский: Мне необходимо кое-о-чем с Вами переговорить. Можно?

Люба: Разумеется. . . Что-же это я в самом деле? — Как будто расстерялась. Паша тоже. Ну здравствуй, Николай (подавая руку). Как живешь? Паша, что-же это мы? . . .

Паша: Здравствуйте, Николай Андреевич. (Тоже подает руку и сейчас же берет шляпку и саквояж).

Люба: Куда-же Вы, Паша?

Паша: Я еще зайду. . . позже, после визитов. Вам, очевидно, пужно наедине поговорить. Я не буду мешать.

Керновский: Нет, нет. . . Вы абсолютно не мешаете. Наоборот, я очень рад Вашему присутствию. Вы — человек прямолинейный и к тому же наш общий друг: мой и вот—се. Вы тоже примете участие в нашем разговоре. Совет—другое дело. . . Вы можете дать совет и можете воздержаться от него. . . но. . .

Паша: (перебивая). Быть может мне лучше сойти вниз и предупредить товарища Шумкова. Он пошел за детьми. Они должны уже скоро вернуться.

Люба: Да, да, да. . . Гриша с детьми могут войти.

Керновский: Не беспокойтесь. Они придут не раньше, как я им об этом скажу. Детей и Гришу я видел и. . . предупредил. Но во всяком случае нам нельзя медлить; и потому я буду краток и откровенен. Тебя, Люба, я тоже попросил бы для блага наших интересов быть откровенной.

Люба: Что касается принципиальных вопросов—да. Но относительно чисто житейских мелочей, то я прошу даже не касаться их.

Керновский: Их мы касаться не будем. Они сами себя коснутся.

Люба: Садитесь. . . Что-же ты стоишь

Керновский: (сядась). Спасибо. Итак. . . (помедлив). Можешь ли ты, положи руку на сердце сказать, что не раскаиваешься по поводу. . . ну. . . того, что произошло в нашей жизни и жизни наших детей? Что положение сложившихся вещей ты считаешь и теперь, как и тогда, — нормальным?

Люба: Николай! . . Ты как-то уж слишком

ребром и сразу поставил вопросы. Между тем ты хотел переговорить.

Керновский: Тогда я начну с другого конца: я сам-же буду отвечать и, так сказать, доказывать от противного. Я уверен, что положение сложившихся обстоятельств ты и сама не можешь считать нормальным, а, следовательно, естественным. Дети—в приюте. Ты—целые дни на работе. Семейный очаг, который так необходим в деле воспитания детей, — отсутствует.

Люба: Позволь. Что дети терпят лишения, получают не такое уж идеальное воспитание, находясь всецело под опекой приютов, — это, да — я согласна. Но то, что я работаю... Разве мало жен или матерей, которые работают? И это не мешает уж так сильно их детям развиваться и делаться честными и хорошими людьми.

Керновский: К сожалению очень много подобных случаев в нашей уродливой жизни капиталистического строя. Но их нельзя отнести к явлениям положительным или явлениям второстепенного порядка. Это—зло и зло настоль вопиюще, что о нем нельзя умалчивать. Нельзя хладнокровно проходить мимо него с закрытыми глазами. Нужно бороться... Вот я и пришел звать тебя на эту борьбу. Бороться со всем и вся, что только встретится на пути к тому, чтобы вернуть наших детей к нормальной жизни, к разумному воспитанию и... к семейному очагу.

Люба: (Как-бы в забытье). „К семейному очагу“... Собственно к этому то ты и вел весь разговор... Николай! Кому больше принесет этот семейный очаг удовлетворения, радостей жизни и проч.? Кому он больше нужен? За кого ты больше радеешь: за детей или за самого себя? Покопайся в своей душе и там, на дне, ты найдешь уголок, твой „николаевский“ уголок, который скажет тебе также честно, как ты сам честно и открыто говоришь людям, — скажет, что тобою руководит ЭГОИЗМ. И руководит в

той области, которая должна быть тебе чужда. Ты прости меня, но ты вторгаешься в чужую жизнь, преследуя свои... да, да, да... свои личные цели.

Керновский: Видишь-ли, если бы я меньше знал тебя, я мог-бы обидеться. Я — бы должен был заподозрить тебя в умышленной нелепости твоего вот только-что брошенного обвинения, наконец, в дерзости... Но я, считая, что тобою руководит и в данном случае только искренность, — буду продолжать начатый разговор...

Люба: Одну минутку... Разве мало у нас, в России, было общих знакомых, друзей, которым удалось дать своим детям примерное воспитание и тем не менее это не помешало обоим, как мужу, так и жене, быть занятыми весь день вне дома — службой-ли, общественными-ли делами... это безразлично.

Керновский: Ты забываешь одно важное преимущество знакомых нашего круга перед Вами — это их социально-общественное положение.

Люба: Я не вижу, каким образом это может служить преимуществом в плоскости затронутого вопроса.

Керновский: Большим... Практическим... Во первых: там они могли, материально могли, иметь няnek, мамок, на которых свободно могли доверить детей физически. Морально-же, духовно, — это во вторых, — там родители имели достаточно времени сами, чтобы влиять на своих детей в этой области. И в третьих, не менее важное, там они не чужестранцы, не оторванные от своей родины кусочки и брошенные в водоворот чуждой жизни, чуждых холодных людей...

Люба: Ты говоришь о родине? Странно! У тебя-же нет родины.

Керновский: Совершенно верно. Ты прекрасно знаешь, что для меня не составляет разницы уверенной рукой брать и ворочать рычагом жизни, как в России, так и здесь. И если бы пришлось, то и на Малозонских островах... Но ты не дала мне окончить. Я хотел сказать, что там, на родине, каждый, в большинстве случаев, имеет родных, родственников—людей близ-

ких ему по-крови, на долю которых зачастую и выпадает роль заполнять те пробелы, которые получаются от случайной оторванности родителей от детей.

Люба: Не понимаю. Откуда ты вынес представление, что наши дети, не смотря на меньшее количество свободного у нас времени, не пахотятся под влиянием нашего воспитания? Откуда ты вынес, что мы в области духовной, а ведь это — самое главное, — не можем влиять на них в достаточной степени? Откуда? . . .

Керновский: Достаточно только взглянуть на тебя: усталость на лице, да и весь твой изнуренный вид. . . говорят сами за себя. Кстати, вот и доктор здесь. Скажите-ж, товарищ Паша, с чисто медицинской, научной точки зрения: может-ли она, физически уставшая, сейчас отдаться детям? А это значит: без желчи и раздражения сносить их капризы и шалости; тепло и ласково отстранять от них дурное настроенное; хватит-ли у нее такту заняться с ними умственно; отвечать зачастую на несуразные, дикие вопросы? . . . (поворачиваясь к Любе). И не забудь при том — все это ты должна делать в промежутках, урывками, ибо тебе нужно в первую голову готовить ужин, привести в порядок квартиру, приготовить, починить и почистить детям одежду, обмыть их, приготовить постель. . . уложить. . . и так без конца. (Люба, нагнув голову, сжав руки, опустила их на колени. Паша подошла к ней и гладит ее по голове). И все это (глядя на карманные часы). Ты должна успеть сделать в два, два с половиной часа. Так как-же, доктор, может ли мать, находясь в такой обстановке, в эти пару свободных часов, — достичь продуктивных результатов занятия с детишками? (Паша вздохнула и отошла на прежнее место). Да уж это и сказалось. Дети абсолютно разучились говорить по-русски. Это одно показывает, что не только поверхностного, но даже и никакого морального влияния Вы на детей не оказываете.

Люба: Хорошо. . . Ты прав. Я тоже в душе это сознавала (нахмурих брови), но. . . ты наверное слыхал, — мы едем в Россию. Все это

кончится и дети окажутся в другой обстановке. Ведь ты сам за Россию в деле воспитания детей.

Керновский: (веско). Собственно, с этого нам и нужно было начать разговор. Для этого то я и пришел. Это и есть главная причина, побудившая меня перестать быть пассивным зрителем твоих экспериментов, а приступить к активной деятельности. Я решил действовать...

Люба: Николай! Что за выражение: эксперименты? Ты не только не уважаешь меня, но ты просто оскорбляешь.

Керновский: Если я обидел — прости. Я не думал. Я только решил говорить и делать так, чтобы нам больше не быть похожими на играющих в жмурки...

Люба: Прежде всего я не девочка увлекающаяся!

Керновский: Ты — женщина, мимо которой школа практическая и суровой жизни прошла стороной. Поэтому весь твой умственный багаж не представляет из себя ничего стройного, дельного, а скорее походит на хаос, отрывчатых полудеалов, полупознаний. И не потому, чтобы ты от природы не была одарена недюжинными способностями. Нет! Ты обладаешь прямым, решительным характером, довольно незаурядной силой воли, но... ты, как-бы наперекор всему этому, оказалась за бортом кипучей взавражденной жизни. В раннем возрасте родительская опека тебе не позволяла окунуться самостоятельно в гущу жизни. Потом, приторное влияние окружающей тебя молодежи отстрапило и не дало познать целину жизни. Партийное воспитание тоже у тебя получилось романтически — загадочное. Дало обильную пищу твоим первам, эксцентричным переживаниям, абсолютно не затронув твоего духовного мирка. Со мной ты жила без напряжения и инициативы, плывя по руслу, которому я давал направление, беря в расчет только твои внешние удобства. Ну, а теперь... ты живешь по инерции, в какой-то томной усталости и в чадю физического, а пожалуй и морального переутомления. Ты — серьезная женщина, но только к жизни относишься положительно спу-

стя рукава. Удары жизни не научат тебя ничему, ибо ты мало требовательна. На себя самое и на то, что с тобой происходит ты можешь смотреть вполне безразлично, как-бы охватывая все, с тобой происходящее, объективно. (Повысив тон). Но ты можешь проделывать это с собою, на детей же простирать эту объективность ты не имеешь никакого права... Да разве ты не чувствуешь весь ужас того кошмара, в объятия которого ты бросаешь наших детей? Начав с того, что легкомысленно доверив детишек сухим безчувственным приютам, — ты, вот, теперь с наименьшей непродуманностью проделываешь еще горшее. Ты тащишь их в Россию, которая теперь сама не может очнуться от своих рап... В голодную, холодную, разоренную Россию, которой нужны работники, борцы, строители. но... отнюдь не лишние рты: детишки из американских приютов; матери, сжигающие себя на грошевых подвигах и забывающие самое великое святое — воспитание детей, будущих граждан России... (зло). Да вот еще таких суб'ектов, как товарищ Шумков, не способных не только строить и создавать, но даже... просто жить... (В волнении встает, вытирает пот со лба, налил воды из под крана, чуть-чуть отпил. Редкое волнение причинило ему почти физическую боль. Хрипло-отрывисто). Прости... Если говорил резко... Не пощадил тебя... в первый раз в жизни... (ходит). Прости...

Люба: (после паузы). Спасибо... Николай!.. Спас-и-б-о... Пожалуй так лучше. Таким языком пожалуй и пужно говорить со мной... А теперь... что-же нужно, чтобы я сделала?

Керновский: От тебя, от твоего решения теперь зависит участь твоих детей. Помни, это — самый важный момент во всей последующей их жизни... Я уже доказал: я с ними когда-то расстался во имя их благополучия, несмотря на то, что мне это стоило печеловеческих усилий. Не менее тяжелое бремя ради них-же и теперь я взвалил на себя... Разве с легким сердцем я перешагнул этот порог, зная, что одним я могу дать возрождение, других звать на подвиг, а третьим нанести удар — невольный, но неиз-

бежный... И вот я обращаюсь к твоему матери-
нскому долгу и зову тебя на подвиг, на борь-
бу. Да, да, да, — ты должна побороть себя:
вырвать чувства, которые ты питаешь... к Гри-
ше и не делать безрассудного шага — не ехать
с ним в Россию, а... остаться со мной... Для
детей — понимаешь, не для меня. Тысячу раз
нет! (Сел, тихо тронутый). Им нужен очаг...
Чистый, светлый, теплый очаг... Не нам...

Люба: (пауза; также тихо). Я... соглас-
на...

Керновский: (подняв только голову; тихо).
Что...

Люба: Сегодня я попрощаюсь с Гришей...
ради детей.

Паша: Спазмы сдавливают ей горло: подошла к Лю-
бе и крепко поцеловала. Не владея собой и не в силах
остановить навертывающиеся слезы, подошла, взяла
шляпку и саквояж. В нерешительности остановилась у
дверей, не оборачиваясь. Тихо, медленно отворила дверь
и также тихо вышла.

Керновский. (спидевший до этого с закрытыми
глазами, подошел к жене, обомни руками взял ее
руку и тихо поцеловал...)

Люба: (задерживая его руку). Николай!
Ты знаешь и одного моего слова достаточно, но
я клянусь... Да, клянусь. С этого момента толь-
ко дети и только для детей. Если нужны будут
жертвы, я их принесу не колеблясь. Ты прав:
им нужен очаг, а не лишения и передразги жиз-
ни. Пока... пока они малютки... Иди и на-
правляй русло.

Керновский: А ты?

Люба: Я... я приеду после.

Керновский: Почему после? Мы можем по-
дойти, взять детей и поехать вместе.

Люба: А Гриша? Надо-же...

Керновский: Я могу об'ясниться с ним.

Люба: Нет. Я сама хочу ему об этом ска-
зать. Он добрый и честный. Он поймет. Я хо-
чу с ним поговорить... тоже вот здесь.

Керновский: (недоумевающе бросил на нее
взгляд).

Люба: Да-да-да. Ты должен, Коля. Это нуж-
но, необходимо... Так лучше.

Керновский: Хорошо. Тогда я ему скажу, а детей прямо возьму домой.

Люба: Нет, я хочу и детей. Дети тоже должны попрощаться с ним. Это было-бы для него больно, незаслуженно... вроде удара... пощечины. Ему и так будет тяжело. Не нужно больше того страдания, чем оно само приходит.

Керновский: Пусть будет так. Я скажу ему; он и детей приведет. А я тем временем позвоню, чтобы прислали автомобиль. Вы недолго. Дети еще ничего не ели. (Подошел к ней и снова, как-бы по-отечески). Ты-же возьми себя в руки. Не расстраивайся. Ты нужна для детей.

Люба: (отрицательно качая головой). Ты — нужнее... я вижу.

Керновский: Ну, хорошо (уходит).

Люба: (Минутку осталась в том-же положении. Оглядывая комнату с прощальной улыбкой). Все, все кончено. (Сняла небольшой портрет в целлулоидовой рамке. Поднесла карточку к губам, поцеловала. Сорвала рамку, отбросила ее в сторону. Карточку-же еще раз поцеловала, спрятала на груди, за кофточку). А теперь... мужества, мужества (Ушла в спальню).

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ.

Вбегают дети с шумом и криком. За ними Шумков, испуганный, недоумевающий. Остановился у дверей, забыв снять шляпу. Дети одеты бедно и неряшливо. Не встретив матери, швырнув книги в угол к игрушкам, направляются в спальню с криком: „Алло, мама“. Слышны поцелуй и голос Любы: „Скоренько... Нужно переодеваться. Вот вам чистое белье, чулочки... это — тебе, а это — тебе... Ботиночки я почищу. Нужно быть чистыми опрятными“. С этими словами она вышла.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ.

Входит Люба. В руках у нее детские ботинки. Она остановилась у дверей с грустью, с виновным тоскливым, устремленным на Шумкова. Тот смотрит вопрошающе и вместе с тем страшась услышать что-то огромное... Люба подошла к печке; взяла под ней находящуюся ваку, щетки... положила на стул; туда-же положила ботинки. Сама села на другой.

Попуриив голову, медленно и со страшным напряжением сил начинает чистить ботинки.

Шумков. В нем как-бы все оборвалось, похолодело. Правой рукой, под жилеткой схватился за левый бок.левой-же с силой прижимает правую руку, как-бы боясь, что сердце разорвется, выскочит... Подошел к столу; сел и медленно склонил голову на стол.

Люба: (с испугом). Гриша! Гриша! Что с тобой? (Бросив все, подбежала к нему. Схватила его голову, приподняла. Он смотрит бесчувственно, вопрошающе. После паузы). Гриша! Ты наверное догадываешься: я ухожу... к нему (он выпрямляется с силой переводя дыхание). Ради детей... Ты понимаешь. Дальше так нельзя. . . Нужно примириться с неизбежным.

Шумков: С чем это — с неизбежным?

Люба: Со всем тем, что Николай продиктовал мне. А он на то имеет право. Ведь дети его и он имеет право вмешиваться в судьбу своих детей.

Шумков: Дети... конечно. Он имеет право. Я понимаю, но ты... при чем здесь ты?

Люба: Как при чем?

Шумков: Да, так... Детям нельзя (показывая кругом) так жить, как мы жили и будем жить, или тебе?

Люба: Детям и только детям.

Шумков: Значит, не ради долга, а по-своему личному побуждению ты изменяешь своей родине, для которой мы решили жить и работать. Вспомнила-ли ты свои обязанности по отношению к родине - матери? . .

Люба: Погоди, погоди... Ты, кажется, намекаешь на то, о чем я еще не задумывалась. Николай уговорил, я поклялась для счастья и блага детей сделать... Да, да, да и я сделаю: я расстанусь с ними ради их-же собственного благополучия, ради их будущности и останусь также верной дочерью по отношению к России.

(СТУК В ДВЕРЬ: оба с тревогой глядят на дверь).

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Не дождавшись приглашения, входит Керновский.

Керновский: Можно? Автомобиль уже внизу. Надо собираться... Детишки готовы? Я парочку поднялся помочь — спести... Могут дети сойти вниз?

Люба: (очнувшись). Ах, да... Они сейчас... (беря ботинки и снова продолжает их чистить). Ботиночки окончу. Нужно почистить. Да... детей ты возьмешь сейчас, я-же... (сметрит на него не решаясь договорить).

Керновский: (догадываясь о случившемся, понизив голос). Что?

Люба: Я к тебе не поеду.

Керновский: Причина?

Люба: Ты можешь дать детям большее и лучшее, чем они получали и могут получать от меня.

Керновский: А материнская ласка? Ты забываешь.

Люба: Это — сентиментальность. Я — мать, но не забывай: я еще и гражданка свободной страны. Для России теперь начинается новая жизнь. И я хочу возложить на ее алтарь посильную лепту. Ты говоришь, что в прежней партийной работе я жила нервами. Теперь я хочу отдаться ей разумно и отдаться всецело, как любящая, преданная дочь. Виновата-ли я, что мои чувства дочери сильнее материнских!!

Керновский: (подумал). И так об этом говорить больше не будем... если это решение бесповоротное.

Люба: Да... бесповоротное... Детки сейчас будут готовы. Вот только дам им ботинки (отложив щетки, тронутая). Ты думаешь, что мне легко? (прижала ботинки к груди, перецеловала их). В последний раз!... (с этим уходит в спальню прикрыв за собою дверь).

Шумков: Закрывает дверь... Будет плакать. Не нужно давать ей возможности еще более расстраиваться. (Хочет направиться к дверям).

Керновский: Оставьте! (понизив тон). Что Вы думаете делать? Имеете план? Простите за нескромный вопрос. Но... нужно раз навсегда покончить с решениями и перерешениями.

Шумков: Вам уже Люба сказала: мы спешим на зов освобожденной от своих рабских цепей родной матери—России.

Керновский: Когда-же Вы решили броситься в объятия „матери“ и... повиснуть у нее на шее?

Шумков: (не поняв его). Теперь... чем скорее, тем лучше.

Керновский: То есть?

Шумков: Люба мечтала со следующей партней политических. Не с завтрашней, а со следующей. Задерживали ее покупки... для детей.

Керновский: Ну, а теперь... с завтрашней могли-бы?

Шумков: Не знаю. Пожалуй уж полный комплект—места не будет.

Керновский: Отвечайте: не находите ли Вы нужным отправиться поскорее? Дорога, перемена места, новые впечатления, — рассеют, смягчат удары, которые будут теперь бить ее душу?...

Шумков: Да...

Керновский: (доставая бумажник). Так вот Вам деньги.

Шумков: Хотите предложить деньги? Никогда!

Керновский: Товарищ Шумков! Теперь Я говорю, а Вы слушайте. Немного имею права говорить, хоть теперь. Вот деньги (дает). Любу в эти подробности посвящать не надо. Идите и устройте так или этак: с партней или за свой счет.

Шумков: (беря шляпу и держа в руках деньги). Как-же Люба? Вы уедете... Она — одна...

Керновский: Спрячьте деньги, хорошенько. Внизу в автомобиле сидит товарищ Паша. Попросите ее наверх. (Протягивая руку). Прощайте! н... помните. Мы теперь договорились до конца. Недосказанного не осталось. Если кто и поступит не так, должен будет ответить. Прощайте!

Шумков: Прощайте... Нужно Любе сказать, что я ухожу.

Керновский: Я сам все об'ясню. Идите. Попытайте Пашу. (Шумков уходит).

Керновский: (после паузы. Подходит к дверям сальона и стучит. Никакого ответа. Стучит еще раз. Наконец открывает дверь, стремительно бросается туда). Ну, вот, вот... Я так и знал. Опомнись! Возьми себя в руки! Отчего вы, детки, плачете? Вытрите глазки. Ну, идите вперед...

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ.

Детишки пробегают в дальний угол и берут брошенные школьные книги и кой-какие игрушки. Керновский слегка поддерживает заплаканную Любу.

Люба: (на ходу). Миндали им не забудь вырезать. На горлышки они жалуются. Подойдите, детки, сюда... Я вам ... Шляпки сейчас... Резинки растянулись...

Достает иголку, нитки, наперсток и быстро умело, став перед детьми на колена, ушивает растянувшиеся резинки у шляп.

Керновский: Какие пустяки. Стоит о мелочах таких...

Люба: Да. Стоит... Мелочи — это все, что матери, отдаваясь им, делают в целом великое, огромное для своих детей. Без этих мелочей материнская любовь — мертвый звук... Ты должен мне обещать дать им и это... Помни и обо мне хорошо, чисто... Я тоже о тебе буду... когда буду умирать, (дрогнувшись голосом) буду думать о тебе... (швырнув на стол наперсток и иголку) и о них... (рыдая) мои славные, невинные... (порывисто и пристально всматриваясь в каждую черточку лица то одного, то другого, как-бы желая навсегда запечатлеть дорогие ей образы). Мои крошечки... личики... Я... никогда вас не увижу!.. Будете-ли вы думать о Вашей маме?!..

Керновский: Полно-же, полно тебе! Не надо!

Люба: Простите... простите меня! Иначе я не могу... не могу! (в рыданиях бьется у ног детей, целуя ножки, ботинки).

СТУК В ДВЕРИ и сейчас же входит Паша. Также с саквояжем и также швыряет его и шляпку в сторону.

Паша: Сразу бросается к Любе, помогая Керновскому поднять ее и посадить на стул.

Люба: (истерично). Уведите! Уведите их! Я не могу!... я не могу!..

Дети: (тоже начинают расстраиваться, прижимаясь к взрослым).

Паша: Николай Петрович! Прощайтесь скорее и детей пужно убрать. Я должна заняться ею.

Керновский: Детки! Пойдемте! Поцелуйте маму (дети подходят к ней. Она обессиленная, прижимает их и крепко целует. Керновский также целует ее говоря:) Прощай! (к детям). Идемте! (Быстро уводит детей, стукнув громко дверь).

Люба: (стук двери заставил ее вздрогнуть. Она вскочила, вырвалась от Паша и кинулась к дверям крича:). Взглянуть! Дайте взглянуть еще раз!!!

Паша: (нагнав ее у самых дверей, схватила за руки повыше локтей. Внушительно встряхивает). Довольно! Любовь Петровна! Слышите!... Я дам Вам сейчас... здесь я имею... (поворачиваясь к саквояжу начинает рыться в нем)

Люба: (оставшаяся лицом к публике. прислонилась к косяку дверей. Полуживая, с закатившимися вверх глазами... медленно, тихо падает на пол).

Паша: (при падении тела отянувшись назад. Привычным движением достала лекарство, взяла в шкафу, стакан, ложечку. Налила воды, отсчитала несколько капель лекарства. Размешав это ложечкой, подходит к Любе, поднимает одной рукой ее голову, другою — вливает несколько глотков ей в рот).

ЗАНАВЕС.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Меблированные комнаты 50—60-х улиц восточной части Нью-Йорка. Сцена представляет треугольник. Слева, ближе к авансцене, столик с выпивкой и закуской. Далее, большая деревянная кровать с характерными высокими спинками. Еще далее, окно. Справа дверь, в глубине. Посредине большой стол. Около двери „дрессер“ (комодик); американские картины в мрачных рамках. Газовая люстра посредине, над столом из трех рожков. Над кроватью, в стенке тоже газовый рожок.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

При поднятии занавеса Сторм—обрызг, значительно потоптел. Очки большие круглые. Усы „Аля-Чаплин“ сидит у большого стола задом к дверям и исправляет рукописи: перечеркивая, приписывая и т. д. У небольшого столика стоит Шумков, наливая водку из большой бутылки „Кэнэдиан Клоб“ (квартирная). Там-же кой-какая закуска и тонко нарезанный лимон.

Шумков: „Хорошо умереть молодым“... (выпивает). Да-с. Да-да-да... Тяжело, но это так... Это, брат, факт. Непреложный, голый факт.

Сторм: (не отрываясь от работы). Факт-ли это или плод Вашей возбужденной фантазии, нам дела нет. Главное, что это — ценный для нас материал, который мы используем в самых широких размерах.

Шумков: (с горечью). Неужели в Вас не говорит чувство русского, когда Вы читаете или слышите о бедствиях, навалившихся на Россию? Или-же Вы не представляете себе достаточно ясно весь ужас российской действительности, охвативший всю страну красным пожаром?

Сторм: А Вас разве пугает красный пожар? Красный пожар?.. позвольте, да во все-то время пребывания Вашего в Америке, Вы делали что-либо, кроме подготовки этого пожара? Это-же было мечтой всей вашей жизни.

Шумков: Не то, Сторм, совсем не то. Когда мне, бывало, грезилось свержение русского самодержавия и будущая российская революция, за этим всегда вставал силуэт здоровой, разумной, свободной жизни (наливая)... красивой жизни великой России (пьет). Как же теперь не разочароваться при виде того безобразия, какое творится сейчас там.

Сорм: „Разочароваться“? Это хорошо сказано, а по-моему даже и не это: по-моему в Вас просто говорит чувство эгоизма, ущемленного самолюбия и даже, если хотите, чувства мести.

Шумков: Эгоизм — пусть. Самолюбие — допускаю. Но... при чем тут месть?

Сорм: Как при чем? Насколько я Вас понял, то в смерти Любовь Петровны Вы обвиняете исключительно большевиков.

Шумков: Да. Их и только их. Как Вы сами отнесетесь к тому обстоятельству, когда люди, захвативши власть, не умеют и не желают...

Сорм: (перебивая). Те-те-те, позвольте, позвольте... Слыхал уже (показывая на рукописи) и вот здесь читаю... Когда я еще первый раз услышал стороной, что Вы вернувшись из России мечете громы и молнии на большевиков, — ясейчас-же грешник подумал: уж не получил-ли наш товарищ Шумков от большевиков щелчек в нос или по носу. А оказалось дело-то посерьезнее, по существу, и чисто случайное по случившимся обстоятельствам. А именно: к довершению всех мелочных лишений и невзгод, которыми товарища Шумкова встретила его любвеобильная „мать-родина“, — у него, как на грех, заболела любимая женщина на почве недоедания и прочего. Заболевает тифом. Лекарств — нет; удобств лечения — никаких. Оглянулся кругом, а кругом разорение да нищета. Помощи ждать неоткуда. Кто виноват во всем?... Большевики, большевики, большевики!. Как молотом стучит это ответное слово в висках воспаленной головы товарища Шумкова.

Шумков: (возбужденно). Совершенно верно! (Наливает и пьет). Вы знаете, я иногда мучительно задумываюсь. Вот... если-бы были такие весы, чтобы можно было взвесить и подобрать соответствующие равнозначные цифры. — то они бы нам показывали, что жизнь и страдания одного индивидуума несравненно огромней всех моральных и политических завоеваний всего мира!.. Вожди большевизма не могли не учитывать: они должны были предвидеть сколько слез, горя и жертв человеческих будет принесено для осуществления их идеалов.

Сторм: Вот, вот, вот... Я-же и толкую об этом. Значит мои теоретические выводы касательно Вашего контр-эволюционного превращения совершенно правильны... Далее... Любимая женщина умирает. Причина смерти уже найдена: большевики. И вот товарища Шумкова охватывает прежде смутная ненависть, потом рельефно обрисовывающаяся злость и, наконец, выливается в мщенье. Хочется всеми имеющимися средствами мстить... Кому? Конечно, большевикам!

Шумков: Это — неправда. Я стою выше личного мелкого чувства.

Сторм: (ехидно). Да? Г-м. Хотя это и не помешало Вам спуститься к нам, которых Вы громили не так давно и величали хулиганами и черносотенцами. Ведь всего пару лет тому назад Вы-бы и руки мне не подали, а не то, чтобы принять мои теперешние предложения касательно передачи Ваших рукописей в наше полное распоряжение. А как мы используем эти статьи — в каких целях и направлениях — Вам известно.

Шумков: Мне известно только одно, что руководят мною: это — любовь к России, раз, и желание, даже обязанность, преподнести Вам, сидящим тут, в Америке, голую правду, два.

Сторм: (медленно, незвучно). За приличное вознаграждение... Да?

Шумков: Что? Если так, если Вы меня подозреваете в продажности,—я сейчас-же (приближаясь к столу). порву все это на мелкие кусочки...

Сторм: (хладнокровно). Не порвете. Это в Вас опять вспыхнула на минутку Ваша прежняя российская шепетильность. Вы этого не делаете... Ведь Вам в субботу даже и за эту комнату заплатить нечем будет.

Шумков: (презрительно и зло). Какой-же Вы, Сторм, незвучно черствый!

Сторм: Да-а?... Говорят некоторые. Ну дело то, однако, не в этом: мы отвлеклись (показывая на рукописи и пробегая их). Показывайте раньше с делом. Вот приблизительно в этих отметках и поправках и заключается тот дух,

который нам желательно приписать всем Вашим статьям о России. Во первых, Вашу желчность Вы попредержите в своей душе: она умаливает значение корреспонденций и смягчает действия на умы американского общества. А тону обвинителя придайте больше страдальческих ноток... Словом, человек Вы литературно-способный и я надеюсь, сами сообразите, что и как. Затем я вот тут принес наше, вполне самостоятельное, под чем мы также хотим видеть Вашу подпись.

Шумков: (вскинув голову). А что это такое? Быть может...

Сторм: (перебивая). Не беспокойтесь. В разрез с Вашими взглядами не идет. Что-же касается мщения, то достигает более грандиозных результатов... Ведь Вы-же не против интервенции?

Шумков: Да... Нет... То есть вообще, смотря потому, какую дипломатическую подкладку и какую политическую окраску будет иметь интервенция.

Сторм: Все здесь подведено — лучше нельзя. Ваши политические убеждения останутся при Вас.

Шумков: (Нехотя). Ладно... я просмотрю.

Сторм: Перепишите своей рукой и главное уничтожьте все эти листы с поправками и приписками... также и наши статьи. Пожалуйста осторожнее действуйте, иначе скандал может выйти огромный. Ну-с, что-же касается материальных условий, так сказать — гонорара — Вы считаете для Вас вполне приемлемыми. Вы имеете отныне дело только с нами и ничего общего с прессой. Это всецело лежит на нашей ответственности. Да?

Шумков: Ну, конечно. О чем тут толковать.

Сторм: А если толковать не о чем, то и потрудитесь подмахнуть вот это (подает условия). А я дам Вам... (достает бумажник и отсчитывает несколько бумажек). Этого я думаю достаточно. Остальное после получения всех рукописей. (Шумков не считая, скомкав кладет деньги в карман. Сторм берет записку и бережно делает на ней пометку). Мне нужно по этому поводу и здесь отметку сделать

(подвигая снова к Шумкову и давая ручку). А Вы тоже и под этим распишитесь. Я привык к формальности, чтобы никаких потом недоразумений не было.

Шумков: Насчет аккуратности — Вы настоящий американец.

Сторм: Ничего не попишешь: таковым если и не родился, то с первого дня прибытия в Америку сделался.

Шумков: Помню, помню... Вы меня простите, но для меня Ваше возвращение в лоно русской колонии — загадка... Вы ведь совсем было к американцам ушли.

Сторм: (пуская дым сигары). Революция российская всколыхнула, я думаю, ни одного меня. Нюх, знаете-ли, у меня насчет монеты поразительный. Принцип—тоже: где больше денег—там и я.

Шумков: (смотрит на него с сильным недоумением).

Сторм: (одевая перчатки шоффера). Ну-с до завтра (жмет руку).

Шумков: Может, рюмочку выпьете? (мнет-ся). У меня только одна рюмка... Ну, ладно — я со стакана.

Сторм: (подходя к окну). А Вы моей новой машины еще не видели? Посмотрите. (Взглянув в окно). Кто это вышел отсюда?

Шумков: Мало ли здесь живет квартирантов. Я Вам и бутербродик сделаю.

Сторм: Нет... женщина... что-то очень знакомая.

Шумков: Какая там знакомая. Так показалось. Здесь чисто американские меблированные комнаты. Я нарочно уединился... Ну-с пожалуйста, выпьем.

Сторм: Я не особенно любитель (пьет).

Шумков: Закусите.

Сторм: (отмахиваясь руками). Нет, нет, спасибо. Мне нужно торопиться. До свидания. (Подойдя к дверям, оборачивается). Между прочим... не хотел говорить, да уж что-же там... Ведь у меня была в свое время любовная интрижка с Любовью Петровной...

Шумков: (пораженный). Вы?... У Вас?...

Сторм: Что Вы так? Дело прошлое, к тому же без глубоких последствий... Как она сама выразилась (щелкает пальцем, припоминая)... „не отдалась... физически“. Но одну ночь пережили довольно бурную. Я, помнится, долго потом не мог забыть этой ночи... Все это было „раннею весною“... „Гуд-бай“ (уходит).

Шумков: (оставшись один, долго смотрит на дверь. Машинально подошел, запер ее, вернулся к водке, налил. Сел сбоку, нагнув голову и теребит волосы). „Хорошо умереть молодым“. (Пьет). „Молодым хорошо умереть“... Люба... Люба... Мер-за-вец...

СТУК В ДВЕРИ.

Шумков подошел и отпер дверь. Открыл ее и в изумлении делает шаг назад.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Паша: (входя). Можно к Вам?

Шумков: Пожалуйста. Простите, немного беспорядок.

Паша: Не важно... Я на одну минутку. Так это — правда, что Любовь Петровна умерла?

Шумков: Да.

Паша: Отчего?

Шумков: От тифа... Разруха; не было лекарства; голодала... все это вместе унесло ее преждевременно в могилу.

Паша: (приближаясь к столу, увидев рукописи, переносит свой взор на него и глядя в упор:) Товарищ Шумков! Здесь был Сторм. Он приезжал к Вам „по-делу“... Я была нечаянным свидетелем этого темного дела...

Шумков (вспылив). Темного? Темными делами я не занимаюсь. Цель моего сюда приезда, наоборот, — рассеять тьму и пролить свет на положение в России...

Паша: И Вы хотите пролить этот свет сквозь загаженную, грязную „стормовскую“ призму и ниже с ним! Это — шайка гнусных предателей России! Стая черных воронов, которые могут из-за своих корыстных целей предать и продать Россию. Америку, отца, мать... Почему Вы ре-

шились при посредстве именно такого аппарата проливать свет? Почему Вы не пришли к нам? Мы искренно жаждем такого света! Нам нужно это знать! Нас мучает незнание, оторванность от России! Мы сходили с ума от неведения, а Вы... Вы идете и бросаете этот свет в грязную лужу сухих и черствых дельцов... Когда я видела издали Сторма, под'езжающего к Вашему дому, не поверила своим глазам; я думала — ошиблась. Я хотела проверить, тихонько поднялась наверх и подошла к дверям. Отрывки Вашего с ним разговора долетали до меня. Я поняла суть дела, пошла и отозвала Николая Андреевича...

Шумков: Он будет здесь?

Паша: Он уже едет. Он страшно был потрясен вестью о смерти Любови Петровны и теперь, естественно, спешит услышать от Вас лично подробности этого...

Шумков: (удивленно). Я ему написал пару дней тому назад письмо.

Паша: Виновата... Письма он не видел. Я первая его получила и, взглянув на обратный адрес, я узнала, что письмо от Вас. Я решила прежде повидаться с Вами самой, а потом уже...

Шумков: Каким образом письмо могло попасть в Ваши руки?

Паша: Очень просто. Как раз в этот день нашу корреспонденцию мне первой пришлось просматривать.

Шумков: На-шу кор-рес-пон-ден-ци-ю.... Что это значит? Вы живете вместе?

Паша: Да.

Шумков: На квар-ти-ре?

Паша: Даже больше. Как у нас в колонии выражаются: „мы сошлись“...

Шумков: Как давно?

Паша: Вскоре после Вашего от'езда. Почему это Вас так удивляет?

Шумков: Да-а.... признаюсь очень удивляет. Никогда-бы не подумал.

Паша: Но почему-же? Неужели мы—не пара? Так уж не походим друг на друга, чтобы...

Шумков: По любви?

Паша: Я — да. Он — не знаю. Я давно его

любила...

Шумков: Позвольте, позвольте... Так значит Вы его любили еще тогда и... скрывали...

СТУК В ДВЕРИ.

Паша: Это — Николай. (Подходит и открывает дверь). Сюда, сюда. Входи!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ.

Керновский: (войдя, долго смотрит на Шумкова, потом переводит свой взгляд на Пашу. Та все время следила за выражением его лица).

Паша: (Керновскому). Мне лучше уйти?

Керновский: Да, да. Ты иди; тебе-бы не следовало приходить сюда... Что ты такая бледная? Ты взволнована. Поди успокойся, отдохни.

Паша: Я пойду (бросая письмо на стол). Письмо, которое я задержала. Порвите его Шумков. (Ушла).

Керновский: проводив Пашу, запер за нею дверь. Шумков сидит, положив голову на обе руки. Керновский прошелся по комнате, взор его упал на бумаги, разбросанные на столе. Как-бы сообразив что-то поднимает глаза на Шумкова. Тот тоже в свою очередь приподнял голову и глаза их встретились. Не говоря ни слова. Керновский сел у стола и закурил папиросу.

Керновский: Какие были последние слова? Сознавала-ли перед смертью серьезность своего положения? Были-ли какие желания, просьбы, требования?

Шумков: Вас и детей вспоминала. Сильно хотела видеть. Взяла слово с меня, что я поеду обратно в Америку, буду около детей... Это, собственно, и все, что можно было разобрать среди постоянного бреда горячки, агонии...

Керновский: Предсмертные желания любимого человека Вы исполнили: вот приехали в Америку... Ну... а детей—постарались уже видеть?

Шумков: Я это решил сделать после нашей с Вами встречи. Нам нужно выяснить наши отношения и в зависимости от этого...

Керновский: Это, пожалуй, правильно... Скажите: были-ли какие либо шансы на спасение

Любы? Между прочим, имела-ли она врача, лекарства?...

Шумков: Относительно ухода и медицинской помощи — я был бессилен сделать что-бы то ни было... Если-бы она заболела при других условиях, спасти можно-бы было легко, но... тяжело, тем не менее это — факт.... Вакханалия политической разнузданности правящего класса России — вот что свело в могилу Любу! Я понимаю, это больно сознавать нам, старым революционерам....

Керновский: Простите, но Вы слишком опереточно произносите это „старым революционерам“. Такого термина я не признаю. Оно, пожалуй, годится для газетного псевдонима: закончить статью или там корреспонденцию и подписаться „старый революционер“. Революционер, как и само освободительное движение, по моему старыми никогда быть не могут. Они вечно движутся вперед и... двигаясь, крепнут и вечно обновляются. Вы это очевидно смешали с другим термином: „революционера-недоноска“, которого толкают на революционные потуги, его постоянное недовольство, подавляющего революционного веяния.— Если это веяние правее, он левее. Веяние левее, он правее (рассматривая рукописи). Кажется, последнего вида перемена произошла и с Вами (глядя в упор на Шумкова). Позвольте Вас спросить: что сие означает?

Шумков: (поднимаясь). Это?... Вам-бы не следовало это читать... Вообще, заглядывать в чужие рукописи....

Керновский: А я думаю, что никому, как мне, следует это видеть. И никому, как мне, об этом следует Вас спросить.

Шумков: Позвольте!... Какое Вы имеете моральное право? Какое? И при том Вы?

Керновский: Не горячитесь. Я скажу... Говорить я буду... а, может быть, и действовать.

Шумков: Я не понимаю. Это не деликатно — ворваться в чужую квартиру и вмешиваться в личную жизнь... распоряжаться.

Керновский: Не Вам-бы говорить, господин Шумков, не мне-бы слушать. Если уже мы нач-

нем считаться, то Вы у меня (повысив тон с трясущимися губами) в неоплатном долгу (махнув рукой). Но я не пришел с Вами считаться и тем более принести Вам какой-либо вред. Напротив, я готов оказать Вам посильную помощь. Конечно, на материнскую ласку Вы рассчитывать на меня не можете, но отеческую заботливость окажу широкую и в самом благородном смысле.

Шумков: (упавшим тоном). Что Вам от меня надо? Какие Вы все жестокие. Не нужна мне Ваша отеческая заботливость. На что она мне? В чем ее помощь? Какая?

Керновский: Помощь? . . . Большая — идейная. Ласка матери, я вижу теперь, была вредна и пользы Вам реальной не принесла; только разбаловала, развинутила, размягчила Вас. (Рассматривая бумаги). Поправки, приписки... странно. . .

Шумков: Это уж черезчур! Вы не имеете права!

Керновский: Нет! Я имею (кладет их в карман).

Шумков: Вы пользуетесь правом сильного, физически сильнеешего. . . Вы же не дикарь!

Керновский: Нисколько. Право сильнеешего я не употребляю здесь как дикарь. Я не пришел к Вам, чтобы состязаться с Вами, защищаться от Вас, или, тем паче, мстить Вам. Тысячу раз нет! . . Я хочу сегодня почтить память умершей, довершить взятую на ее плечи заботу о Вас. И вот теперь как раз представился редкостный случай — достойно почтить. (Вынимая бумаги и держа их в руке). Клянусь неопозоренной памятью умершей — чистой революционерки, что вот этот материал я не употребляю во вред Вам, дабы не набросить также тени позора и на нее. Я даже не использую его в целях пригвоздить Сторма и всю их банду к позорному столбу и дискредитировать их в глазах американского общества.

Шумков: (задетый). А Вы, господин американец, что-же? тоже стали «большевики»?

Керновский: Вы меня хотели в квадрате оскорбить, назвав американцем и большевиком... „Большевики“... „Вэл“... мы привыкли к этому: американцы всех русских так окрестили и это нам не режет ухо. Быть-же американцем я не гнушаюсь и как честный американец буду бороться против вовлечения моей страны в интервенцию по отношению к России. Буду бороться и против ложного преподнесения ей сведений о России, дабы не ввести ее в заблуждение и не толкнуть на некрасивый шаг (потрясая рукописями в воздухе). Подобные же деяния я называю шантажем!

Шумков: Неправда! Вы не держите себя в рамках приличия!

Керновский: А как Вы назовете поступок революционера, когда он подписывается под поправками и приписками черносотенной паемной клоаки и пускает в свет эти грязные ложные выдумки, как свою исповедь? ... В первую голову я избавляю Вас от позора, под которым Вы уже расписались, который морально уже совершен и только вот эта случайность (кладет рукописи обратно в карман) не дала возможности совершиться юридически, стать фактом. Если моя жена отдала свою жизнь Вам, то она имела перед собой честного человека; хотя слабого, но борца-человека.

Шумков: А Вы знаете, товарищ Керновский, что сказал мне Сторм сегодня перед Вашим приходом?

Керновский: Что говорит Сторм, меня не интересует.

Шумков: Не скажите. Это и Вам не так чуждо, как и мне... У Сторма с Вашей женой тоже была любовная интрижка... Кого-же тогда она имела перед собой: борца-контр-революционера?

Керновский с искаженным от злобы лицом с силой схватил Шумкова за плечи. Опомившись, он его выпустил. Контролируя свои действия, он однако не может от сильного волнения выговорить ни слова. Одной рукой ухватился за стол, другой за голову.

Шумков: Ему стало невыносимо стыдно и больно

за свою вспышку. Он понял, что сделал подлость, запачкал себя. Подойдя к кровати, он навалился на ее спинку.

Керновский: (еле выговаривая слова). Я требую, чтобы дневник Вашей жизни, много страниц которого исписаны моей и моей семьей кровью и позором, был закончен.

Шумков: (вскинув голову, насторожился).

Керновский: (вынимая револьвер). Вы должны покончить сегодня-же, не выходя из этой комнаты... покончить с собой самоубийством.

Шумков: Николай! Чего Вы требуете? Ведь вы требуете страшной жертвы! — За что?

Керновский: Сегодня дневник Ваш должен оборваться!.. Неужели Вы еще будете со мной торговаться? (кладет револьвер на стол). Разве мы-то торговались, когда приносили наши жертвы? Мы были в более невыгодных условиях: мы не получали ничего взамен за свои жертвы. Вы-же получаете незапятнанное имя революционера и не совершите предательства перед родиной, двери которой пред Вами закрываются вторично и уже теперь надежды на возвращение нет. В этой-же стране Вы можете лишь пресмыкаться, как пасынок.

Шумков: (про себя). Без родины... (Стремительно подходя к Керновскому). Вы говорите — сегодня-же... оборваться... дымом револьверного выстрела (сжимая револьвер в руках). Да, да, да. (Кладет обратно револьвер). Торговаться я не буду (подавая руку). Спасибо за отеческую заботу! Спасибо! (подходит с лихорадочной поспешностью к водке, наливает и пьет). „Хорошо умереть молодым“ (поворачиваясь к Керновскому, меняя тон). А впрочем—никогда не поздно. Вы тоже говорите, что хорошо умереть мне! Ведь хорошо?

Керновский: Да, хорошо... И единственное, что может теперь для Вас быть „Хорошо“.

Шумков: Так оно и будет!..

Керновский: Помните, если Вы не застрелитесь сегодня, я завтра сам Вас застрелю. Не делайте больше того, что Вы уже наделали. Поставьте сами точку последней страницы.

Шумков: Точку... (показывая на висок).

Да, да, — круглую точку... вот сюда. Прощайте! Прощай, Николай! (жмет руку; шопотом). Спасибо еще раз...

Керновский: (берясь за шляпу). Дверь закройте. Я скажу внизу, что Вы никого принимать не можете. Вам не будут мешать. (Направляется к дверям. Шумков машинально следует за ним. Уже дойдя до дверей). Умереть можете спокойно. (показывая на боковой карман с рукописями). Об этом никто не узнает. Умрите, как „старый революционер“. (Отпирает дверь и берется за ручку, чтобы открыть).

Шумков: Николай! Так нельзя! Давай поцелуемся на прощанье. Из всех путешествий, на которые ты меня устроивал и провожал — это самое дальнее (целуются; Керновский спокойно уходит).

Шумков: (один) запирает дверь; одно мгновение стоит повернувшись от дверей, но не отпуская рук от ключа. Шатаясь, медленно подходит к столу. Медленно дотрагивается до револьвера, отмахивается, со страхом и тоскою говоря: «Не смогу» сел, беспомощный, всеми забытый. Оглянулся по сторонам, взор остановился на газовой люстре, потом на газовом рожке над кроватью „ГАЗ!...“ Нервно встал, как бы вспоминая. Опять быстро взглянул на рожки, подбежал и вскочил на кровать. С лихорадочной поспешностью открыл рожок и вдохнул полной грудью газ... Закрыв глаза и сделал гримасу, закрывает рожок). Гадко!.. (борясь с собою). Нет! Нужно! (Открывая рожок, решительным шопотом). Нужно!.. нужно!.. (Соскакивает с кровати и выпинает стакан виски. Подбегает, вскакивает на стул и откручивает все рожки люстры. С разбегу бросился на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Снова вскакивает, потрясая руками в воздухе и крутя головой; ему дурно. Говорит полупьяным заплетающимся языком, наливая остатки бутылки и выпивая:) Хо-р-р-р-р-ошо уми-р-р... Нет, не хор-р-р-ошо!.. (рвет ворот рубахи, задыхаясь). Не-мо-гу-у-у... (ложится головой на край стола. Голова скатывается и он сам падает на пол *).

*) От автора: Хорошо, если на сцене сделать нечто вроде мглы (дымчатость), достигнув это, прозрачно-серой кисейной занавеской и дымчатыми лампочками, уменьшая свет в зависимости от хода одурения газом и водкой исполнителя. Так, что к концу акта получается сильный полумрак.

А. ПОКАТИЛОВ.

(Унав, беспомощный взгляд устремляет на люстру; медленно приподнимается, подойдя взбирается на стул и закручивает рожки люстры. Затем, цепляясь за попадающиеся под руки предметы, пробирается к кровати; взбирается на нее, дотягивается рукой до газового рожка... Теряет силы и равновесие, инстинктивно хватается за рожок и обламывает его, падая на кровать... Животный ужас охватывает Шумкова. Вместо слов вылетают мычание и стоны. Скатывается на пол, не выпуская из рук обломок рожка. С трудом подползает к дверям, хочет дотянуться рукой до дверного ключа. Силы совсем его покидают. Рука, на которой он приподнялся, подвернулась и он падает на спину. Голова оказалась слегка — опирающейся на дверь. Из рта идет пена. Глаза без смысла широко — открытые устремились в противоположную стенку, на которой вначале тусклое, а затем все ясней и ясней вырисовывается ВИДЕНИЕ: умирающая Любовь Петровна с распущенными волосами, спускающимися с подушки... Музыка в отдалении чуть-чуть слышно начинает играть „Похоронный марш“.

Минуту—немая картина.

ЗАНАВЕС МЕДЛЕННО ПАДАЕТ.

КОНЕЦ

Copyright, 1924, by A. Pokatiloff.
2302 Potomac Ave.
Chicago, Ill.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ
РУССКОЙ КОЛОНИИ г. ЧИКАГО
О-во Технической Помощи Союза Социали-
стических Советских Республик
1902 Вест Дивизион стрит
Рабоче-Крестьянский Театр
1902 Вест Дивизион стрит
Русское Музыкальное О-во „Лира“
1902 Вест Дивизион стрит
Русский Кооперативный Ресторан
1734 Вест Дивизион стрит

“Голос Труженника”

Оффич. орган организаций Индустр. Рабоч. Мира
на русск. языке. Выходит раз в 2 недели

На год \$1.50 на 6 мес. 80 цент.

1001 W. Madison Street, Chicago, Ill.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕС-
КАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, ВЫХОДЯ-
ЩАЯ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ВОСКРЕСЕНИЙ

РУССКИЙ ВЕСТНИК

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

В С. Ш. и Канаде		В Чикаго и за-границу	
На 1 год	 \$6.50	На 1 год	 \$7.50
На 6 мес.	 3.75	На 6 мес.	 4.25
На 3 мес.	 2.25	На 3 мес.	 2.50
На 1 мес.	75	Отдельный номер 2с	

Всю корреспонденцию на имя Редакции и Конторы
газ. „РУССКИЙ ВЕСТНИК“ следует адресовать:

Russian Daily Herald
1722-26 WEST CHICAGO AVENUE
CHICAGO, ILL.

РУССКИЙ АДВОКАТ
САМУИЛ ГОЛЛАНД

Ведет дела во всех судах и составляет бумаги,
документы и проч.

19 S. LA SALLE STREET

Телефон Централ 8610.

Др. Ф. С. БРОСИЛОВА

РУССКИЙ ВРАЧ и ХИРУРГ

Контора:

3511 West Harrison Street

Phone Nevada 7149

Часы: от 10 до 12 дня и от 1 до 3 по-полудни

По воскресеньям по условию

Контора:

2634 W. North Avenue

Phone Armitage 0727

Часы: от 3 до 5 и от 7 до 9 вечера

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

Г. Р. КРАСНОВ

РУССКИЙ ВРАЧ-ХИРУРГ

Кожные и Венерические Болезни

3600 WEST RUSSELL ROAD

Часы: 2—4 и 7—9 вечера

Воскресенье — условленные часы

Телефон Ван Бюрен 4710

1346 SAUT HOLTEN STREET

Часы: 1—2 и от 5 до 7 час. вечера

Воскресенье: 10 час. утра до 1 часа дня

Телефон Канал 0538

Телефон квартиры: Ван Бюрен 3493.

Dr. H. R. KRASNOW, M. D.

1346 S. Halsted Street, Chicago, Ill.

СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ

М. САГУД

Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня
и от 7:30 до 9 часов вечера.

1579 MILWAUKEE AVENUE

Room 212

Phones Humboldt 2052—Belmont 1001

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Др. БОРИС СЕНДЕРОВ

Работа гарантирована

1346 S. HALSTED STREET

Phone Canal 7267

Др. Н. М. МАРШАЛ

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Часы: от 9 до 12; от 2 до 5 и от 6 до 9 вечера
По воскресеньям от 9 до 12 ч. нч

2634 W. NORTH AVENUE

Office: Armitage 0727. Res. Spaul. 0737

К. ГУГИС

АДВОКАТ

Ведение дел, как в уголовном так и в гражданском судах.

Составляет необходимые судебные документы и др. необходимые бумаги.

Квартира:

3323 S. HALSTED ST., 2nd Fl.

Phone Boulevard 1310

Контора:

127 N. DEARBON ST.,

1111-13 Unity Building

Phone Central 4411

Амалгамейтед ТРОСТ И Банк
СЭЙВИНГС

ЧИКАГСКИЙ РАБОЧИЙ БАНК

371 Вест Джексон Бульвар

Посылайте доллары в Россию, Украину, Польшу
и Литву через

ЧИКАГСКИЙ РАБОЧИЙ БАНК

Сберегайте свои деньги в

ЧИКАГСКОМ РАБОЧЕМ БАНКЕ

ЧИКАГСКИЙ РАБОЧИЙ БАНК

организован и контролируется членами юниона
Амалгамейтед Портных, который насчитывает
150,000 членов.

Amalgamated Trust & Savings Bank

Chicago's Labor Bank

371 W. JACKSON BLVD.

Chicago, Illinois

LABOR WORLD PRESS

PRINTERS

PUBLISHERS

BINDERS

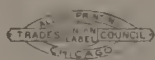


Единственная

Русская

Юнионная

Типография

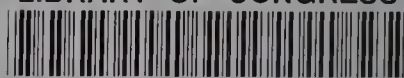


379

1126 BLUE ISLAND AVENUE, CHICAGO

Цена 50 центов

LIBRARY OF CONGRESS



0 019 679 126 7